



ЖИЗНЬ®  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

Основана в 1890 году  
Ф. Павленковым  
и продолжена в 1933 году  
М. Горьким



**ВЫПУСК**

**2065**

---

**(1865)**

Майя Кучерская

**ЛЕСКОВ**  
**ПРОЗЁВАННЫЙ ГЕНИЙ**



МОСКВА  
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ  
2021

---

УДК 821.161.1.0(092)  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1-8  
К 96

*В оформлении переплета использованы  
иллюстрации Кукрыниксов и Олега Пархаева  
к произведениям Н. С. Лескова.*

знак информационной  
продукции **16+**

**ISBN 978-5-235-04420-3**

© Кучерская М. А., 2021  
© Издательство АО «Молодая гвардия»,  
художественное оформление, 2021

---

---

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Лесков был человеком разорванным. Его постоянно «вело и корчило», растаскивало между скепсисом и восхищением, гимном и проклятьем, идиллией и сатирой, нежным умилением и самой ядовитой иронией, ангелом и *аггелом*\*<sup>1</sup>, праведниками и злодеями.

Формула его художественного мира включала два полюса одновременно — плюс и минус<sup>2</sup>. Присоединяться к одному из них ему было скучно, незачем; другое дело — держать в поле зрения оба, глядеть, как растет напряжение, вспыхивает молния, блещет текущий огонь.

Статья о петербургских пожарах, неудачная по интонации и не слишком глубокая по мысли, подорвала его репутацию, едва он начал путь в литературе. Написанный вскоре после этого роман «Некуда» о роковом заблуждении одних, нечистой игре других и глупости третьих, который приняли за пасквиль и донос, испортил ее окончательно. «Господин Стебницкий» — псевдоним, под которым он опубликовал «Некуда», — стал писателем нерукопожатным на долгие годы вперед: прежде чем широкая читательская публика снова повернулась к нему, должна была смениться не одна эпоха.

Жизнь Лескова, вместившая смерть маленького сына, безумие жены, несправедливое увольнение с государственной службы, многолетнюю травлю, отторжение современниками, вполне потянула бы на трагедию. Но всё в ней вечно скатывалось в водевиль, сползло в житейский скандал. И не потому, что Лескову недоставало масштаба, — изменилось время, и герой его вместе с ним. Там, где раньше бунтовали, стрелялись, гибли на дуэли за единственное

---

\* Аггел — падший ангел, служитель дьявола.

слово, где устраивали шумные дружеские пиры, теперь стоял грязный трактир, шумела попойка. Вместо дуэли могла разразиться лишь мутная разночинная драка, взамен прежних сражений разливалась дрязга.

Всю жизнь Лесков напряженно искал, что можно этому противопоставить, на что опереться, а набредал всё на одно: золотое иконописное небо, вечность, красота кроткой и умной души и сокровищницы родного языка.

Лучше многих про него сказал Чехов: «Этот человек похож на изящного француза и в то же время на попа-расстригу»<sup>3</sup>, — проиная самое важное в Лескове-художнике: обостренное эстетическое чувство, тяга к прихотливому словесному узору, задорной языковой игре сочетались в нем с поповским началом, любовью к церковной культуре и жизни, пронизанной вместе с тем духом отторжения государственного православия (потому и «расстрига»). Официально Лесков не принадлежал к духовному сословию — священствовали его прадед и дед, отец после семинарии пошел в чиновники, — но в облике его и круге интересов всё-таки жили неистребимые поповские черты. Не один Чехов это в нем разглядел\*.

Лесков и в самом деле очень верил в очеловечивающую силу христианства: действенная любовь, жертвенное служение ближнему, чистота души, внутренняя цельность — для него всё это было не безвкусной жвачкой из очередной воскресной проповеди, а предметом веры. Он искал тех, кто обладает этими сокровищами. Людей до такой степени кротких, героических, добрых, смелых, кажется, не существовало на белом свете — тогда он их придумывал.

«Осенним расцветом идеализма» назвал эту особенность Лескова любивший его критик Михаил Осипович Меньшиков<sup>4</sup>. Лесков — христианский идеалист. Он никогда не был таким изощренным психологом, как Достоевский

---

\* Известный еврейский историк, публицист и общественный деятель С. М. Дубнов (1860—1941) вспоминал посещение петербургской квартиры Лескова на Сергиевской улице (с 1923 года — улица Чайковского) в начале 1880-х годов: «На стенах висело много картин, преимущественно произведения иконописи. Что-то поповское было в лице хозяина, грузного пожилого мужчины с хитрыми хохлацкими глазами и несколько циничными манерами. При всём своем вольнодумстве, Лесков с особенною нежностью говорил о культе икон и о ликах святых, изображения которых висели у него на стенах» (*Дубнов С. М. Книга жизни: Воспоминания и размышления: Материалы для истории моего времени.* СПб., 1998. С. 100).

или Толстой; наоборот, ему особенно удавались персонажи, существовавшие словно вне психологических законов, люди-иконы, обладатели образцовой нравственности или умений: старичок-травник Крылушкин, молочник Голован, княгиня Протозанова, мастер-волшебник Левша, солдат на часах Постников. Часто он находил их в прошлом, в старой сказке.

Параллельно его остро волновала современность, злободневные вопросы и темы, но всерьез любил он, кажется, кроме праведников, только людей старинных, которых называл «антики», их и весь русский патриархальный мир, на глазах опускавшийся в Лету, и описывал его с неизменной улыбкой — печальной, теплой. Целовал в макушку, не боясь показаться смешным. Это не мешало ему оставаться поклонником европейского просвещения, общественного прогресса, безграмотность и рабство вызывали в нем отвращение и ярость. По широте взглядов, например, на еврейский вопрос Лесков намного опередил свое время. Он проповедовал внимание и терпимость к чужой культуре и ценностям в те времена, когда принцип толерантности еще не был сформулирован в пространстве светской мысли, хотя слова «...ни элина, ни иудея...» давно были произнесены.

Он мечтал жить среди ангелов, в мире, где нет ни схваток, ни подлости, ни страстей, еще и потому, что слишком хорошо знал их разрушительную силу. Его самого жгли черная зависть, злоба, жадность к деньгам. «Ты о Христе пишешь, а сам чёрт чёртом, только рогов недостает», — сказала ему однажды его приемыш Варя, которой он дал две пощечины за то, что посмела завить себе волосы<sup>5</sup>. «Лесков говорит о милосердии, а в глазах у него черти бегают»<sup>6</sup>, — записала в своем дневнике литератор и актриса Софья Ивановна Смирнова-Сазонова.

Гнев, раздражительность, деспотизм топило в себе другое неистовство.

«О необузданном, садистическом темпераменте Лескова на сексуальной почве ходили среди писателей чудовищные слухи... — вспоминал другой его современник. — За кофе с ликером Николай Семенович мечтательно заметил: “Какой-то кесарь засыпал своих гостей розами, так что они под ними задохнулись. Я также, вероятно, задохнусь. Но не от роз... А хотел бы я, чтобы на меня сыпались женские сердца... сотнями, тысячами... красные, горячие... Я валялся бы среди них, целовал бы их взасос, разрывал бы их

пальцами, грыз бы зубами, и задохнулся бы от сладострастия!»<sup>7</sup>.

Литератор Павел Пильский сохранил удивительное свидетельство критика Александра Измайлова. Тот увидел в кабинете на столе у Лескова «прекрасный крест на слоновой кости, чудесной работы, вывезенный из Иерусалима». Однажды, «в минуту откровенности», Лесков обратил внимание Измайлова на вставленное в перекрестье кругленькое стеклышко. Приблизив крест к подслеповатым глазам, Измайлов оторопел: под стеклышком была неприличная картинка<sup>8</sup>.

«Красивые женские лица, нежные и томные, а рядом с ними старинного письма образ или картина на дереве — голова Христа на кресте в несколько сухом стиле Альбрехта Дюрера»<sup>9</sup> — так описывала его кабинет писательница Любовь Яковлевна Гуревич.

Тот же Измайлов, однажды зайдя к Лескову невзначай, увидел, что он стоит на коленях, отбивая земные поклоны.

«Измайлов осторожно кашлянул, Лесков быстро оглянулся, заерзал по ковру и растерянно, быстро заговорил, как бы оправдываясь:

— Оторвалась пуговица, знаете... вот, всё ищу, ищу... никак не могу найти...

И он для вида стал шарить рукой по ковру, будто и в самом деле что-то искал.

Все, знавшие этого человека, в один голос упоминают о его прожигающих глазах, светившихся распаленной огненностью»<sup>10</sup>.

Лесков для сегодняшнего российского читателя — автор «Левши», для зарубежного — «Леди Макбет Мценского уезда», которую знают по опере Шостаковича. Но на самом деле его рассказ-визитка — «Чертогон»: дядюшка рассказчика ныряет в бешеный ночной разгул, с пьяным пиром, музыкой, цыганами, а нагулявшись всласть, так же пламенно замаливает ночные грехи в женском монастыре перед богородичной иконой. В другом рассказе, «Дворянском бунте...», отец Василий, алкоголик с добрым сердцем, после запоя, на покаянной молитве «просветлевал до прелести», «невыразимой и неописанной», так что при красноте лица своего напоминал «огненного серафима»<sup>11</sup>.

Многое из того, что делает человека человеком, — образование, профессия, дружба, супружество, отцовство — у Лескова или было «разбито на одно колено», как говорил он о своем первом браке, или вовсе отсутствовало. Систем-



ного образования он не получил — имел за спиной три гимназических класса. Профессиональным писателем стал не сразу и не до конца, всегда искал других, более надежных занятий. С официальной женой не ужился, с «гражданской» — тоже. Дочерью Верой почти не занимался; сына Андрея, будущего своего биографа, больше мучил, чем воспитывал. О «сиротку» Варю, которую приютил уже стариком, скорее грелся — буквально: борясь с одиночеством, клал ее, маленькую, с собой в постель; страшно подумать, как это интерпретировали бы сегодня. Приятели в его жизни случались, как и внезапные сближения, но дружба, требующая доверия, искренности, постоянства, — никогда.

Возможно, именно эта неприкаянность, неспособность пристать ни к одной из испытанных традицией пристаней определили интерес к нему в колеблющемся XX веке. Дожив почти до конца XIX столетия, он действительно стал фигурой переходной. Лесков едва ли не первым из русских прозаиков осознал, что объектом изображения может стать слово как таковое, его журчание, клекот, цоканье, мычание, чавканье, кашель, скрип, кряканье, звон. И отправился в свободное плавание — в живой язык, русский письменный, русский устный. Страсть к редким, диковинным словечкам, которые Лесков собирал по крупицам в записные книжки, чтобы потом гурмански раскатать по нёбу, спустить в горло мелкими глотками, была не слабее, чем все другие.

Его тяга к эстетическому наслаждению была тягой к запретному, потому что сталкивалась с иной линией, мейнстримом российской словесности второй половины XIX века, который и сам он открыто поддерживал: литература должна воспитывать. «Я совершенно не понимаю принципа “искусства для искусства”»; нет, искусство должно приносить пользу — только тогда оно и имеет определенный смысл»<sup>12</sup>, — говорил он уже стариком, повторяя то же, что заявлял в молодости\*. Должно-то должно, но чем дальше, тем сильнее он любил красоту слова как такового, от

---

\* В 1861 году в статье «О замечательном, но неблагоприятном направлении некоторых современных писателей», опубликованной в «Русской речи», Лесков писал: «Пользоваться неразвитием общественных вкусов и понятий и стараться морить общество со смеху, когда нужно говорить о деле, — недостойно литературы, от которой в настоящее время русская жизнь вправе требовать серьезного служения ее интересам» (*Лесков Н. С. Полное собрание сочинений: В 30 т. Т. 1. М., 1996. С. 379*).

проповеди отделенного. Поэтому и отношения с читателем Лесков выстраивал иные, более отстраненные и прохладные, чем Толстой, Достоевский, Тургенев и Гончаров, зато с языком — интимные, влюбленные. Читатель ему этого не простил. Но то, что помешало любить Лескова читателям XIX века, определило интерес к нему в первые десятилетия века следующего.

О нем думали и писали Василий Розанов, взглядывавшийся в суть лесковского консерватизма, Максим Горький, любивший его за демократизм, оригинальность таланта и называвший «волшебником языка». Языковая вязь и стилистические игры Лескова привлекали и Дмитрия Мережковского, и Алексея Ремизова, и Евгения Замятина, и Бориса Пильняка. «Достоевскому равный, он — прозёванный гений. / Очарованный странник катакомб языка!» — писал Игорь Северянин в стихотворении «На закате (1928).

Но хотя странствия по катакомбам языка сближали Лескова с литературным модерном, как сказал Северянин в том же стихотворении, «никаким модернистом ты Лескова не свалишь» — он был шире.

Всё русское — уклад, душу, веру — он понимал не умом, не сердцем — печенью. И видя мрачные бездны и героизм русского характера, его благочестие и дикость, авантюризм и апатию, желание оседлать, а еще лучше обхитрить судьбу, но вместе с тем и покорность ей, любил его именно таким. Это трезвое русофильство, не исключавшее глубокого почтения к европейской цивилизации, — еще один ключ к миру Лескова.

Напоследок о том, как написана эта книга.

Я люблю сочинять художественные тексты: придумывать несуществующих мужчин и женщин, детей и бабушек, их встречи, сны, разговоры, озарения, а заодно рассказывать о том, как светится только что вылупившийся из почки лист в луче апрельского солнца, как трещит крыльями юная стрекоза над заросшим кувшинками прудом. В равной степени я люблю искать реалии, литературные и жизненные, которые легли в основу того или иного художественного произведения, выяснять, как эпиграф соотношен с замыслом текста и кто тот забытый автор, чье сочинение послужило основой... словом, заниматься филологией, комментированием и историей литературы. Люблю тишь библиотек, гору ветхих журналов на столе с

внезапным инскриптом, приютившимся между лиловой библиотечной печатью и экслибрисом; особенный запах старых книг, рассыпающуюся брошюру, принесенную в картонной коробочке, обвитой волосатым шнурком, которую так интересно разглядывать и нюхать под железной зеленой лампой.

Работая над книгой, которую читатель держит в руках, я решила не снимать очевидного противоречия, не переключать в себе филолога на писателя и наоборот.

В конце концов мой герой тоже соединял в себе и писателя, и публициста, и исследователя; сложись его судьба иначе, он мог бы стать серьезным ученым. Поэтому в этой книге немало ссылок, в том числе на архивные документы (многие обнаружены и упомянуты впервые), и литературоведческих соображений. Отсутствие ссылок — сигнал читателю: перед ним реконструкция, основанная на мемуарах, документах, текстах Лескова. Особенно последовательно события и факты реконструируются в начале книги, описывающей то время, когда Лесков для потомков нем. Первое его сохранившееся письмо датировано декабрем 1859 года, когда автору было без малого 29 лет; до этого — ни слова, ни звука! Остается восстанавливать, как всё было в эпоху его безмолвия, по его поздним скупым свидетельствам и сторонним документам, вооружась здравым смыслом, а иногда фантазией. Едва мы вступаем во времена, когда Лесков, наконец, заговорил, вольных догадок в этой книге заметно убавляется, зато разборов лесковских сочинений прибывает. Слова писателя суть дела его.

Надеюсь, что переключение из одного регистра в другой не потребует серьезных усилий. Впрочем, на читателя, вовсе не готового к ним, я и не рассчитываю.

Самое время поблагодарить всех тех, без чьей читательской и профессиональной помощи я ни за что бы не справилась: Е. Н. Ашихмину, М. В. Вишневецкую, Е. С. Коробкову, А. В. Машукову, О. Е. Майорову, М. С. Макеева, В. А. Мильчину, М. С. Неклюдову, Т. Г. Слуцкую, Л. И. Соболева, М. Л. Степнову, С. И. Труфанову; А. В. Полозову (Центральный государственный исторический архив Украины, Киев), Т. А. Евневич (Государственный архив Пензенской области), стоически прочитавшую самый первый, а затем и последний вариант Е. С. Холмогорову, моих первых читателей и библиографов В. И. Буяновскую, М. Р. Хамитова, а также сотрудников Российского государственного архива литературы и искусства, Рукописного отдела

Пушкинского Дома, Рукописного отдела Литературного музея города Орла и Дома-музея Н. С. Лескова, и, конечно, моего мужа и постоянного советчика А. Л. Лифшица.

А теперь увяжем покрепче узлы, бросим в ноги холщовый мешок с провизией, усядемся поудобнее в легкую бричку. Вперед, за нашим героем!

Он немало времени провел в пути, многих своих персонажей сделал странниками, путниками дурных русских дорог. Несколько его сочинений — один из первых очерков «В тарантасе», роман «Некуда», повести «Смех и горе», «Очарованный странник», рассказ «Отборное зерно», очерк о Гоголе «Путимец» — открываются дорожными сценами. Его герои вообще часто перемещаются по белу свету, все они — путимцы, которые ищут правду.

Вот и писателем Лесков стал, кажется, в дороге: его литературная карьера началась с путевых писем, полных сценок, которые он подглядел, историй, которые подслушал.

В путь!

---

---

*Глава первая*  
**ДОРОЖНЫЕ СНЫ**

*Чудная вещь старая сказка!*  
Н. С. Лесков. Соборяне

**Проводы**

Юноша спит, слегка посвистывая во сне. Новенький суконный картуз сполз на нос — из-под широкого козырька видны только темные усы, круглый подбородок в прозрачной поросли, губы — пунцовые, пухлые.

Ветерок омывает лицо и шею, в скулу бьет вдруг тугая пуля — очнувшийся шмель или муха; юноша вздрагивает, сдвигает картуз, поводит сонными испуганными глазами. Вдоль обочины толпятся березки в легком сиянии первой листвы и птичьей трескотне. За березками — распаханное поле. По острой зеленой травке всходов удивленно расхаживают черные грачи.

Даль ясна, как бывает лишь ранним утром в мае; дорожная лента видна на много верст. Пыль прибил мимолетный дождь на рассвете, колеса стучат глухо, бубенчик погромыхивает в такт. Юноша клюет носом вместе с другими пассажирами пожилого тарантаса, едва вместились в эту «помесь стрекозы и кибитки», как изволил пошутить один полузабытый сочинитель — тень его еще мелькнет на страницах нашего повествования. Тот тарантас, впрочем, скрипел на русских ухабах много раньше, теперь же на дворе 1850 год\*.

---

\* Согласно большинству имеющихся сведений (см. Хронологическая канва жизни и деятельности Н. С. Лескова / Сост. К. П. Богаевская // *Лесков Н. С. Собрание сочинений*: В 11 т. Т. 11. М., 1958. С. 801), Лесков в первой половине 1850 года жил в Киеве. Однако недавние архивные находки свидетельствуют, что в апреле он, скорее всего, находился в Орле: подписанный им собственноручно «Рапорт Орловской Градской Полиции», который разумеется, составлялся в орловской палате Уголовного суда, датирован 11 апреля (см.: *Ашихмина Е. Н. Лесков в Орловской палате Уголовного суда: новые автографы писателя // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2009. № 1. С. 184*). Как бы то ни было, мы позволили себе посадить молодого Лескова в тарантас, направлявшийся в Киев в начале мая указанного года.

Кавказская война идет на убыль, имам Шамиль уже готов сдаться русским.

Лев Толстой твердо решает покончить с беспутной светской жизнью, делать гимнастику и вести дневник.

В столице начинаются гонения на философию: польза от нее не доказана, а вред возможен.

В петербургском Дворянском собрании проходит последний в сезоне бал, а в ночи маскарад, цена билета на маскарад — два рубля.

Достраивают Николаевскую железную дорогу.

Достоевский только что отметил свою первую в Омском остроге Пасху.

Тургенев нарисовал толстую собачку в письме Полине Виардо.

Днепр освободился от ледяных оков, англичане вновь с жаром принялись за строительство моста.

Газета «Северная пчела» сообщила о рождении козленка с ястребиной головой.

Юноша сладко спит. По устам его скользит улыбка, словно и во сне он помнит, что едет в далекое, взрослое путешествие, в чудный Киев, к дядюшке.

Остается лишь скользнуть беззвучно сквозь густой ресничный лес, заглянуть по ту сторону дрожащих век нашего героя, отметив по пути: сыровато, уж не пустит ли он вот-вот слезу?

Ба, да он на пиру! Сизый табачный дым стелется над столом с остатками закусок, лепится клоками к желтеньким обоям, заслоняет дешевую народную картинку. Кто там? Бова на коне, Еруслан на хвостатом драконе? Не разглядеть. Возле стены — батарея пустых бутылок, одна прилегла — сил стоять нет. Гости расшумелись, раскраснелись, поют.

*Дым столбом — кипит, дымится пароход... Православный веселится наш народ!*

Регентует чернокудрый Евгений, стоит посреди комнаты, густым голосом ведет неумелый хор. Глистовидный Георгиевский в коричневом франтове, добытом по случаю на Ильинке, вьется рядом, машет руками, совсем не в лад. Рябоватый Лавров, Жданов с красной шишкой на скуле оседлали стулья и скачут. Гладко выбритый Вася Иванов, дядька Опанас в вышиванке поют тоже. *И быстрее, шибче воли мчится поезд в чистом поле!*

Ни один из них в настоящем поезде пока не ездил, поезда не видал. Только через 20 лет дотянется до Орла железная дорога. Но песня веселая, тема в масть.

Один хозяин не поет, стоит, опершись о дверной косяк, смотрит, будто издалека. Ему тянет душу: хоть и рассказы-вал всем, будто покидает Орел на месяц-другой — поглядеть на Киев, осмотреться, знал — не вернется ни за какие пряники, вцепится в скупое дядюшкино гостеприимство зубами, и... ни за что. Глохлый, прогорелый город, прощай. И не задорный мальчишник это, не проводы — похороны.

Никогда больше ему не пить с ними, не петь, не воро-чать в канцелярии пыльные связки дел, не кунать перо в помадную банку с чернилами, не курить на дворе под анек-доты и молодецкий гогот.

...Только зачем же лошади скачут мимо, под густой крик ямщика, почему захлебывается колокольчик?

Юноша распахивает глаза. Воздух рвется от звона — взбивая пыль, мчит курьерская, с колокольчиком и бубен-цами. Он смаргивает слезу, промакивает щеку ладонью. Звук тает. Как и не было сытой тройки с крытым экипа-жем. Впереди только избенки выступившей за поворотом деревни. Попутчики его тоже начинают потягиваться, про-сыпаться. Он глядит на них сквозь ресницы, ему не хочется ни знакомиться, ни говорить.

Прямо напротив широко зевает плотный русобородый купец: взгляд цепкий, глаза в зелень, чистый крыжовник, а руки ленивые, полные, мягкие. Рядом мелко моргает тща-душный приказчик, он при купце, судя по стриженной челке и чинному виду, из староверов. Слева посапывает, откинув-шись назад, кудрявый молодец, кровь с молоком. Возница придерживает лошадей — навстречу бредет стадо. Несет на-возом и бедностью; коровы за зиму исхудали, идут, покачи-ваясь, норовят ущипнуть по дороге хоть листик жмушейся к забору ботвы. За ними плетется белобрысая девка, тоже будто после болезни: щеки бледные, под глазами синева, едва держит кнут, на ходу спит.

Голова раскалывается, во рту мертвая слепопоечная сушь. Юноша судорожно сглатывает, снова ныряет в забы-тье. Слышит сквозь дрему, как соседи знакомятся и сейчас же сближаются друг с другом, как умеют сближаться в до-роге одни лишь русские люди.

Звучит раскатистый смех, льются-переливаются сло-ва — вещество, воровство, погуливать...

— ...Где народ, там и воровство, — рокоchet сочный ку-печеский голос.

— Ну, нет-с. У немцев воровства не бывает. Мне артельщики из Петербурга сказывали, — сыплет звонкий тенор. — И у шведов нигде не встретишь.

— Брежут, — обрывает купец.

— Чего им брехать? *Брежет брох о четырех ног.*

Брох, черный молодой пес в ржавых подпалинах, привязан на базарной площади к телеге, дышит теплым паром; по вытопанному на площади снегу шагает гусь, глинистого окраса, любимец протодьякона. Навстречу ему — белый крепыш квартального. Слышится яростный гогот, рыжий пух вспархивает над бойцами, но внезапно меркнет ясный снежный свет...

Он опять в тарантасе, кудрявый сосед тормошит его и странно булькает горлом.

— Гы-гы-гы. Вот так спит, хоть в гроб клади...

— Рано еще совсем, рано, — бормочет юноша.

— Неравна рана, иная рана бывает с полбарана, — слышит он в ответ и не понимает ни слова. — Вылезай, говорят, прибыли! То-то и оно, что не убыли, а прибытку-то всякий рад.

Юноша окончательно просыпается. Смотрит на балагура. Глаза у юноши — черные, злые, на дне плещет досада. Такой оборвали сон... А вдруг протодьяконский одержал бы верх!

Тройка стоит возле дверей неказистого заведения, сильно вытанутого и деревянного. У склоненного набок крыльца яростно чешется по-весеннему грязный пес, не обращая внимания на новых посетителей. Все уже заходят в трактир.

— Как прикажете величать?

— Николаем, — хмуро цедит молодой человек и добавляет через паузу: — Семенов сын. Пить охота!

— Николай Семенович, — с иронией в голосе повторяет приказчик. — Ну а я Судариков буду, Никита Андреевич, из Нижнего. Ехали долгонько, решили заглянуть в заведение. Не угодно ли будет... Вот и попьете.

Подкрепясь в честной компании «бальзаном» со стерлядью, вновь рассевшись в тарантасе, в разговор затягивают наконец и черноглазого юношу. Николай Семенов сын рассказывает, что служил в Орловской уголовной палате, нынче же едет в Киев, к дяде-профессору, чтобы поступать летом в Киевский университет. Говорит, как пишет, врет — глазом не моргнет и сам себе верит. Русобородый



купец знал, оказывается, его отца — тот приезжал к ним в Елец расследовать одно дело. Всякий трепетал тогда Семена Лескова...

— Кромы! — обрывает разговоры возница.

Снова вставать, разминать сомлевшие члены. Слезли, отряхнулись, потянулись, опять пошли пыхтеть за самоваром.

Кромы Николай знал как свои пять пальцев, до последнего кривого проулочка — сколько раз проезжал здесь гимназистом, по пути в родной Панин хутор с отцом или кучером Антипом, забиравшим его на каникулы.

Городок славился крепкими лукошками и фальшивыми паспортами. Но сейчас стоял мирно, застенчиво, зацветали яблоневые сады — в Кромах особенно густые, тенистые. Оторвавшись от остальных, Николай пошел по знакомым улицам. Потолкался на Крупчатной и дождался-таки — паренек с кулем на плече сыпанул в него мукой шутки ради, забелил рукав новой бекешки. Обернулся, закричал ему грозно, но баловник уже нырнул в какую-то незаметную дверь.

Пошел к Главной. На ней когда-то стоял дом, в котором зимовал сам батюшка Степан Тимофеевич Разин, но сейчас пройти тут можно было только по тонкой досочке — с весны и до самой сухой жары Главная превращалась в сплошной коричневый пруд. Повернул к Московской, самой нарядной, с несколькими каменными домами, с нее на Рядскую: здесь тянулись лавки со съестным и железным и стоял трактир. На цирюльне сколько уж лет висела фанерка с надписью: «Сдеся кров пускают и стригут и бреют Козлов». Перечитал и в который раз засмеялся.

Из раскрытой двери трактира дохнуло запахом вареной гречки — и он вспомнил вдруг весь свой дорожный сон целиком: гусями он только закончился, на гоготе оборвался. До этого ему привиделись снег и пахнувший гречкой родной Орел, который чем дальше отодвигался, тем становился милее.

## Старинный город

Зимой город хорошел, стоял как обряжен.

Черную бездонную лужу у недостроенного собора, ветхие флигели усадьбы графа Каменского с подушками вместо стекол, груды досок у домов вечно строившихся

мещан, канавы, разрытые вдоль дорог свиньями, — всё покрывал милосердный снег. Соборная лужа стекленела, кривые улочки, побелев, прямели. Снежным светом искрились сады; домишки, нахлобучив на тесовые крыши снеговые шапки и словно подбоченясь, глядели первостатейными купцами.

Тишина над городом вставала такая, что, когда в Девичьем звонили часы, в домах у Плаутина колодца разговор прерывался: требовалось переждать, как отзвонят. Даже лошади ступали по снегу беззвучно. Разве изредка всхрапнет какая да вскрикнет с долгой зимней доуки петух.

В любое время года жизнь города к середине дня замирала, всё погружалось в послеобеденный сон, но зимой правило это обращалось в закон непреложный, почти священный.

Даже медник Антон, городской антик и изобретатель, прекращал лазить каждую ночь на крышу, глядеть в плезирную трубку на зодии\* — слишком скользко. Сидел в своей каморке, шлифовал стекла.

Блаженный Фотий, с жуткими розовыми глазами, на время холодов поселялся Христа ради в баньке купцов Акуловых. И Голован-молочник не стучал по вторникам и четвергам в дверь.

Исчезали и запахи, в воздухе звенела одна сиреневая свежесть.

Пристань, хлебная да соленая, в летнее время тесная от грузчиков, подрядчиков и десятских, замирала вместе с Окой. Суда зимовали под снегом по правому и левому берегу. Рабочий люд, из тех, кто нанимался весной на барки, затягивал пояса потуже, считал копейки и позевывал во весь рот, уже и не ропща на зимнюю тяготу — ропщи не ропщи, у всех теперь два друга — мороз да вьюга. Живи летними запасами и отсыпайся вволю.

Только по утрам зимнее царство ненадолго оживало: вспрыгивал упругой дугой колокольный звон, из печных труб вылетал дым — особенно пахучий в Заокской части, самой бедной, ветошной. Дрова заокским были не по карману, вот и топили гречневой лузгой, а кто и навозом. От такой топки и морозный утренний сумрак теплел, делался духовитым.

---

\* П л е з и р н а я т р у б к а — подзорная труба; з о д и и — 12 зодиакальных созвездий.

В кромском трактире Николай заказал гречневую кашу. Как там в Киеве — варят ли, любят ли гречу? Хотел запасть ее вкусом и запахом впрок.

Вскоре хозяйский сынок, чернявый отрок с напомаженным вихром и удивленным взором, поставил перед ним целый горшок с разваристой и душистой гречкой, следом и огурчики из зимних запасов, и квашеную капусту. Он вдыхал, ел, вспоминал дальше.

Он любил и этот гречнево-навозный запах, и мороз. Мальчиком, едва вставала Ока, бежал с ребятами на берег, тащил на гору ледянку-плетушку, вымазанную коровьим навозом, снизу политую водой и замороженную. Великая драгоценность — ледянка! И метили ее, и прятали — всё равно случалось не уследить. Ему соорудил плетушку Антип, их дворовый, кучер и мастер на все руки. И всё-таки в одну зиму у него ледянку стащили, так и не нашел — что ж, съезжал на «заднем колесе», а потом Антип смастерил ему новую.

В праздники ходил с братьями глядеть, как под монастырем на льду бьются на кулаках мещане с семинаристами, стена на стену. Бивались на отчаянность. Правила были: бить в подвздох, по лицу — ни боже мой и не класть в рукавицы медяки. Только правила эти не всегда соблюдались. Вот и получалось: побьют парня до бесчувствия, стащат на руках домой — и отысповедовать не успеют, как уже преставился.

На Кромской площади спускали бойцовских гусей. Гусь отца протодьякона, когда дрался, гоготал так, что дети визжали, бабы крестились, жутко делалось даже мужикам и смешно своего страха. Только и протодьяконский перед гусем квартального Богданова тушевался. Богданов не чаял в нем души, нянчился, как с младенцем. Знакомую площадь Николай и увидел во сне, причем сверху — приснилось ему, будто над городом он летал.

Квартальный пришел на Кромскую площадь, грузный, важный, за спиной плетеная клеть, в ней — сокровище, его серый богатырь, доблестный воин. Хозяин не спускал с него глаз: лишь бы не навредили, не накормили моченым горохом, не подбросили под лапы гвоздик. И никогда ведь герой не подводил. Случалось, во время сражения входил в такой раж, что и у живого бойца крыло отрывал.

Первым прыгнул серый, глинистый загоготал раскати-сто, жутко... тут Николай проснулся под гыканье Судари-кова, пустобреха.

Гусиными и кулачными боями в Орле развлекались издавна; об этом Николаю рассказывали и дед, и отец. Но и во времена его детства город жил еще по-старинному.

«Табашников» презирали, бабушка по материнской линии Акилина Васильевна Алферьева плевалась и крестилась при одном только слове «табак». И торговала табаком единственная лавка в городе. Трактир тоже был долгие годы один, и, если кто из молодых парней туда заглядывал, такого клеймили «трахтиршыком». Что значило: тьфу, в женихи не годится! Полиции в городе не было, караулили сами жители: ходили вокруг и стучали колотушкой, опасаясь не воров, а пожаров.

Старинная сказка глядела, чуть насупясь, из каждого окошка в наличниках, подперев кулаком голову в чепчике, завязанном под подбородком бантиком.

Акилина Васильевна помнила, как в Орел прибыли пленные французы — голодные, рваные, замотанные в тряпье, «косматые, яко звери». Их жалели, подавали хлеб, кидали одежду, но принимать басурман на квартиру боялись — пленных опередил слух, что они заразные, оттого и мрут. На ночь французов загнали в нетопленые казармы, наутро половину повезли хоронить. Нашлось доброе сердце, повивальная бабка Василиса Петровна. Жила она на краю Новосельской заставы и на собственный вкус выбрала себе несколько самых жалких пленников. Поселила их в своем доме и ухаживала, как за родственниками. Гнать французов дальше не торопились, так что вскоре Василиса истратила на их содержание всё, что имела, и начала ходить по городу, собирать постояльцам на пропитание. Акилина Васильевна обязательно ей подавала.

Когда постой кончился и ее пленных «робят» вместе с другими повели из города, Василиса расколола всю посуду, которой они пользовались, на мелкие черепки и выкинула в поганую яму. Есть из плошек, из которых ели «нехристи», она не собиралась.

Кое-кто из доходяг остался в Орле — учить дворянских детей. Когда в 1825 году в город проездом из Таганрога в столицу был доставлен гроб с телом императора Александра, все рассеявшиеся по Орлу и ближайшим поместьям французы собрались на панихиду в собор. И не так уж мало их оказалось; отец шутил, набралось бы на полковой оркестр.

Собственный дом Лесковых стоял на Третьей Дворянской улице — в зеленом, живописном месте, третьим от реки Орлик, в самой чистой части города, где располагались казенные здания и жило «общество». Между прочим,

на Второй Дворянской когда-то проживал крепкий старик с огромной, вросшей в широкие плечи головой, на которой белые волосы стояли дыбом. «Голова тигра на геркулесовом торсе», — сказал о нем Пушкин, заглянув однажды к нему в гости. То был «неудобный русский человек», генерал Алексей Петрович Ермолов, легендарный покоритель Кавказа. Пушкин заехал к нему в 1829 году, до рождения Лескова, а вскоре генерал покинул Орел, хотя впоследствии еще приезжал сюда — навещал могилу отца. На том же кладбище, по собственному завещанию, был погребен и сам 85-летний генерал. Он не раз потом попадал в сочинения писателя Лескова — и в роман «Некуда» под именем генерала Стрепетова, и в статьи о «Войне и мире» Толстого, и в заметки «Пресыщение знатностью» и «Геральдический туман», а впоследствии стал героем отдельного биографического очерка.

Неподалеку от генерала жили подполковник Дмитрий Николаевич Тютчев (дядя поэта), Василий Петрович Шеншин (двоюродный дед другого поэта, Фета), в подаренной супругой орловской усадьбе бывал Сергей Николаевич Тургенев (отец писателя). Как с тайной иронией выразился однажды Лесков, Орел «вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город»<sup>13</sup>. В свое время те же «мелкие воды» вспоят еще двух знаменитых русских писателей, Ивана Бунина и Леонида Андреева.

Отец нашего героя, Семен Дмитриевич Лесков, приобрел в Орле одноэтажный деревянный дом в августе 1832 года\*, как только выхлопотал себе должность заседателя в Орловской палате гражданского суда и начал получать регулярное жалованье. Семейство его — супруга Мария Петровна и младенец Николай, — жившее до этого у родных жены в сельце Горохове, впервые обрело собственное гнездо.

Обвенчались Семен Дмитриевич и Мария Петровна за два года до этого, в 1830-м, на Красную горку, в приходском храме села Собакина, оно же Архангельское (село называли и так, и эдак — то по имени владельцев, то по названию расположенной здесь же церкви Архангела Михаила).

---

\* События, происходившие в Российской империи, датируются по юлианскому календарю, а за границей — по григорианскому. В случае двойной датировки первой указана дата по юлианскому календарю.

Жениху было уже 39 лет. Он успел и помыкаться, и послужить, и поездить по России. Невесте, которую он еще недавно обучал наукам как домашний учитель, исполнилось семнадцать.

Первенец Николай появился на свет 4 февраля 1831 года в Горохове. Мать его сама еще выглядела красивым милым ребенком. 11 февраля Нишку крестили в храме, где венчались его родители. Обряд совершил тот же священник Алексей Львов, старый знакомый семьи. Восприемником согласился стать Михаил Андреевич Страхов, крупный помещик и большой сумасброд, выражаясь прямее — человек ужасный и, возможно, безумный. Михаил Андреевич, глядевший, как священник окунает младенца в воду, и морщившийся от жалкого писка, даже в дивном сне не мог увидеть, что память о его диких выходках и тиранстве не растворится навек в едких водах неумолимой Леты и бессмертие он получит из рук вот этого красного пискуна\*, который, едва его вынули из купели, пустил лимонную струйку прямо на рясу батюшке.

Когда Лесковы перебрались в Орел на Третью Дворянскую, Марии Петровне, тогда худой, быстрой, было 19 лет. Подобрав юбки, гремя ключами, она буквально бегала по новым владениям, казавшимся ей огромными и необыкновенно богатыми. Возле дома стояли и погреб, и ледник, и амбар!<sup>14</sup> Отперла погреб — сыро, холодно, темно; спустилась на две ступени, разглядела на полу пустую разохшуюся бочку. Припахивало мышами и дохлятиной; что ж, и вычистит, и приберет, сам погреб удобный — глубокий, просторный.

За домом раскинулся сад с яблонями, обсыпными — урожайный выдался год! Сохла несобранная смородина, зеленел крыжовник, темнела вишня; сорвала, пожевала — кислая, мелкая. Сад был сильно запущен, а руки на что? Между садом и забором тянулся огород, с другой стороны находились конюшня и каретный сарай — оттуда уже неслись бормотание Антипа и храп доморощенных косматых лошадемок, впрочем, только что благополучно доvezших их из Горохова. Теперь забыть бы это Горохово вовсе!

Там они жили бедными родственниками. Дня не проходило, чтобы удары палками, розгами, охотничьим арап-

---

\* Страхов стал прототипом сердитого помещика в рассказе Лескова «Зверь», безжалостного князя Сурского в романе «Обойденные» и чудаковатого князя Одоленского в повести «Смех и горе».

ником или кучерским кнутом по спинам крепостных не отсчитывались на конюшне сотнями. Сам барин Михаил Андреевич нередко присутствовал при истязаниях, но буд-то и не глядел — равнодушно чистил розовые ногти под мольбы о помиловании. Немало утопленников принял в свои тинистые воды пруд в большом парке имения; кто-то от отчаяния и безысходности резался, кто-то вешался на чердаке. Старосту Антона барин сам избил до смерти<sup>15</sup>.

В Горохове у Марии Петровны только и было занятий, что следить, как бы Николаша не заплакал не вовремя, не попортил по младенчеству хозяйского, а Семен Дмитриевич не ляпнул по прямоте характера дерзость, — нельзя было подвести отца, много лет прослужившего у Страхова управляющим. Не дай бог обидеть лишний раз и старшую сестру Наталью Петровну, и без того обиженную — юной девушкой ее отдали в жены чудовищу Страхову в оплату за благодеяния.

Михаил Андреевич пригласил Петра Сергеевича Алферьева в управляющие в трудную для семейства минуту, освободил от уже подступавших унижений бедности. Бежав из Москвы в 1812 году, Алферьевы потеряли свое состояние: все драгоценности, сбережения и серебро закопали у дома, но он сгорел в московском пожаре. Выгорела вся улица, осталось черное поле без единого деревца и иных примет, клад было не отыскать.

Горохово стало их спасением. И когда 46-летний Страхов попросил руки пятнадцатилетней красавицы Натальи, можно ли было ему отказать? Неудивительно, что переезд на безопасное от Горохова расстояние — добрых 47 верст, жизнь в собственном доме с тремя комнатами, детской и кабинетом наполняли Марию Петровну весельем и бодростью. С ролью хозяйки она освоилась быстро.

Вскоре на Третьей Дворянской воцарился спокойный, умный порядок: сухие деревья в саду были спилены и выкорчеваны, яблоки собраны и отчасти съедены, отчасти превращены в варенье, как и остатки смородины с вишней. Ненужную ветошь из кухни и амбара выгребли и сожгли во дворе. Погреб подсушили и вычистили.

Возле дома Мария Петровна разбила большую клумбу, на которой уже через год цвели красные и кремовые розы, нежно-розовые георгины, лимонный лилейник. По краю, не мешая их пышной красоте, высажена была желтенькая пижма, хорошо помогавшая от болей в животе и геморроя, а ее запах отпугивал вшей и клопов. Мария Петровна обиль-

но посыпала высушенными цветками диваны, стулья, подвешивала их в шкафах в мешочках, сшитых собственными руками.

Жизнь семьи покатила, наконец, по сухой, ровной дороге. Казалось, так теперь будет долго, всегда.

Семен Дмитриевич каждый день с утра уходил на службу, шел в присутствие пешком — благо близко: по Карачевской и Болховской, по мосту через Орлик. Из Гражданской судебной палаты он перевелся в Уголовную — заседателем «по выбору от дворянства»\*. Местные дворяне, за глаза посмеиваясь над угловатыми манерами бывшего бурсака, ценили его за честность и дельность. Семен Дмитриевич и в самом деле стал вскоре одним из лучших в губернии следователей, пронизательным, неподкупным. В сложных случаях именно его приглашали в уездные и заштатные города Орловской губернии.

Мария Петровна занималась хозяйством: сама работала в огороде, шила, штопала, покрикивала на дворника, кухарку, но особенно грозно на Аннушку — гувернантку и няньку, крепостную девку, ровесницу, за кипучий нрав прозванную Шибаенок. Аннушка, или Анна Стефановна Калядина (со временем Лесковы начали называть ее Анной Степановной), умерла на 99-м году жизни, успев поведать кое о чем из прошлых лет сыну Николая Семеновича Андрею, летописцу его жизни. Правда, выудить из бывшей крепостной, по гроб жизни преданной хозяевам, удалось немного. Но внутренний ужас, с каким она приступала к одеванию и причесыванию молодой барыни, Анна Степановна помнила и через 80 лет.

Николай стал первым ее воспитанником.

Усидеть дома Аннушке было трудно, и она вела мальчика за калитку, к Орлику. Там на выгоне паслись соседские коровы, у одной родился теленок. Наглядевшись, как он

---

\* Судебная палата включала в себя назначаемых председателя и советника и четырех выборных заседателей — по два от дворянства и от купечества (см.: *Троица К.* История судебных учреждений в России. СПб., 1851. С. 323). В аттестате С. Д. Лескова, датированном 27 февраля 1839 года и воспроизводящем формулярный список за 1838-й, указывается, что он поступил на службу 15 февраля 1833 года «по выбору от дворянства» и «во время последнего служения по назначению начальства произвел несколько следствий», а также «два раза по губернскому правлению исполнял должность советника от двух до четырех месяцев» (цит. по: *Лесков А. Н.* Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М., 1984. Т. 1. С. 423).



сосет мамку, как неловко и смешно ступает по траве, брели к оврагу с обрывистыми краями и Солдатской слободе, где с весны до осени учили рекрутов. Прокопченные, как картошка на костре, в пыльной форме, солдатики шагали и разворачивались, строились и расходились. Когда кто-то сбивался, офицер, коротенький, плотный, визгливо кричал на виноватого, бил его палкой. Глядя, как вскрикивает солдат, как закрывает голову от ударов, мальчик плакал. Аннушка уводила его скорее прочь.

По дороге в городской парк они садились на широкую скамью передохнуть, глядели на обмелевшую от плотины Оку. Внизу на воде плескались голышом ребяташки — визжали, брызгались, катались на старой створке ворот, ловили в связанные мешком рубахи мелкую серебристую рыбешку. Николаю хотелось плескаться с ними! Нельзя: он — барич. «В городе Семена Дмитриевича все знают, — наставляла Аннушка, — а ты его сын. Другое дело на воле, в деревне: при мужиках можно и выкупаться, кому что за дело, никто слова не скажет».

Нагулявшись, возвращались к Орлику. На берегу ютились хибарки Пушкарской слободы, в небе, блестя крыльями, кружили голуби, вспыхивал крест на Васильевской колокольне. Николай молился прямо туда, в сияющее синюю небо: сделай, исполни, так, чтобы мне поехать в деревню, чтобы купаться там в речке, ловить рыбок, плавать на плоте, как *они*.

Молитва его была услышана.

## Панин хутор

В тот день Семен Дмитриевич вернулся домой молча, скинул на руки Аннушке шинель, заперся в кабинете. Выдвинул из-под стола выдавший виды дорожный сундук, поднял крышку.

Вот они, старые семинарские тетради, так и лежат высокой стопкой. В семинарии учили не только риторике, философии и богословию, но и геодезии, медицине, сельскому хозяйству.

Первой Семен Дмитриевич вынул тетрадь в черном колленкоровом переплете, стер обшлагом пылищу, раскрыл в середине. На пожелтелой странице было выведено: *Ради повышения плодородия почвы потребно удобрять ее обильно.* Перелистнул: *Для сохранения пчел от мокроты, зноя и холо-*

да закрывать улей по бокам соломой. Что ж, отчего бы и не завести пчел — мед полезен. Вспомнил, как зубрили стихи про пчел из Вергилия: *Venturaeque hiemis memores aestate laborem...*\* Не вышибешь семинарскую науку! Если сосредоточиться, мог бы вспомнить и всю эту песнь, когда-то выученную назубок.

Следующей лежала голубенькая тетрадь — как раз по латыни, на которой и преподавали в семинарии большую часть наук. Прочел среди латинских фраз и русские строки:

Тучных овец стада пастухи весною пасут,  
В мягкой траве лежат, услаждая свирелью слух.

Quintus Horatius Flaccus. Впервые за эти дни Семен Дмитриевич улыбнулся. Сам отроком переводил когда-то из Горация — лучшего римского поэта.

Медлить довольно, забудь все расчеты, дерзай!

Нет у них Меценатов. Зато есть разум, воля, руки — живут в деревне не хуже Горация. Обоснуются в сельце живописнее, в скромном бревенчатом доме. Станут подниматься по крику петуха, завтракать парным молоком и собственным хлебом. Пастух погонит поутру тучное стадо на заливные луга. Хозяин строго, но ласково будет наставлять мужиков, когда лучше сеять, как удобрять почву и получать обильные урожаи (читай черную тетрадь по сельскому хозяйству), а встанут потверже на ноги — займется и пчелами. Будут лечиться медом, печь медовые пироги, варить золотую хмельную медовуху к престольным праздникам. Семен Дмитриевич ясно ощутил в комнате сладкий и тяжеловатый аромат меда, различил гудение пчел, увидел, как по пестрому от желтых и сиреневых цветов лугу идет за стадом белоголовый пастушок и молодые крепконогие бабы шагают с пением после работы в поле.

Толщите, и отверзется вам. *Surge et age. Scientia vinces\*\**. Упрямо повторял он знакомые поговорки, точно частокोल выставлял вокруг, пока не ощутил себя в надежной крепости.

Семен Дмитриевич ободрился, глянул в заиндевевшее окошко — на улице давно стемнело, в стекло царапал мел-

---

\* Помня о скором приходе зимы, предаются работе...» (Вергилий. Георгики. Пер. С. Шервинского).

\*\* Встань и действуй. Знание победит (лат.).

кий снег, — сложил тетради в сундук и пошел сообщать Маше о своем непреклонном решении: уйти из чиновников в отставку, сделаться помещиком, жить на доходы от собственного имения.

Маша ахнула. На какие доходы? От какого имения? Где оно? Ей мечталось, всё так и будет идти, как наладилось в последние годы: служба супруга в присутствии, его поездки по казенной надобности, завершавшиеся обычно триумфом и недурным вознаграждением, тихое, но неуклонное движение по служебной лестнице вверх, прибавление жалованья. В теплые летние вечера — самовар, ужины на веранде под пение соловьев и благоухание сада, беседа с милыми сердцу гостями. А публика среди приходивших к ним на Третью Дворянскую была пестрая: сослуживцы Семена Дмитриевича, отец Павел из собора, отец Евфимий из гимназии, ближние и дальние соседи — гости и купеческой, и мещанской конструкции, и дворяне. И вот всё рушилось. Почему? Она еще надеялась, что не решено, что муж только советуется с ней, — напрасно.

Семен Дмитриевич слов на ветер не бросал. Объявляя жене о решении уйти в помещики, он уже подал в отставку, не успев выслужить себе пенсии, ничего не сосчитав и не взвесив.

К тому времени семейство Лесковых выросло: в 1836 году появилась на свет Наташа, ставшая впоследствии монахиней Геннадией, никем, начиная с Марии Петровны, в семействе не любимая, в следующем — Алеша, напротив, материн любимец, будущий доктор, опора киевской части семьи. Двухлетний Петя, рожденный в 1834 году, умер в 1836-м; его похоронили на Троицком кладбище, описанном позже в «Тупейном художнике»<sup>16</sup>.

Много лет спустя Николай Семенович так объяснял внезапную отставку отца: «Он имел какое-то неприятное столкновение с губернатором Кочубеем (кажется, Аркадием Васильевичем), в угоду которому при следующих выборах остался без места как “человек крутой”. От отца требовали какой-то уступки губернатору, которую он будто бы мог оказать в виде вежливости, съездив к нему с визитом. Я помню, как несколько дворян приезжали его к этому склонить, но он додержал свою репутацию “крутого человека” и не поехал, а дворяне не нашли возможным его баллотировать»<sup>17</sup>. Это объяснение художника — психологически достоверное, но с фактическими ошибками.

В 1839 году губернаторский пост в Орле занимал уже не Кочубей, а Николай Васильевич Васильчиков. Незадолго

до отставки Семена Дмитриевича он ходатайствовал о награждении того чином за выслугу лет, и коллежский асессор Лесков сделался надворным советником. Производство в чин состоялось в мае 1838 года, а в отставку Семен Дмитриевич вышел в январе 1839-го. Что за кошка пробежала между ним и губернатором в эти полгода, неясно. Понятно одно: что-то в происходившем противоречило представлениям «крутого человека» о справедливости; судя по демонстративности жеста — выход в отставку без объяснений! грохотание дверью! — то была размолвка именно с губернатором. Возможно, и в самом деле ничего, кроме визита вежливости, от Лескова-старшего не требовалось, и в самом этом визите не таилось ни малейшего унижения его достоинства. Не захотел.

Позднее в цикле «Мелочи архиерейской жизни», включающем множество автобиографических деталей, Лесков описал один эпизод из своей семейной истории. Глава Орловской и Севской епархии Никодим (Быстрицкий), прозванный «архилютым крокодиллом», вопреки закону регулярно отдавал в солдаты представителей духовного сословия. Среди них были и единственные сыновья у родителей, и обремененные семьей дьячки и пономари. Однажды сдал он в рекруты и сына Пелагеи Дмитриевны, вдовой по пады и родной сестры Семена Дмитриевича.

Отец, рассказывает Лесков в «Мелочах архиерейской жизни», поехал к епископу Никодиму восстанавливать справедливость и «в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово»<sup>18</sup>. Спасти племянника от службы в армии Семену Дмитриевичу не удалось, но по этому случаю можно судить о его прямоте, смелости и вместе с тем безрассудстве — грубить духовному начальству было небезопасно. Мог ли губернатор откликнуться на эту историю, сделать чиновнику выговор? Вполне. И тем самым разгневать Семена Дмитриевича еще больше.

Официально из Уголовной палаты Семен Лесков был выведен 24 января 1839 года. Но уже в конце 1838-го, вероятно, предвидя отставку, он приобрел у генерала Александра Кривцова землю в Кромском уезде Орловской губернии — деревню Панино с прилагавшимися мельницей, санными покосами и всеми угодьями, а также деревню Александровку и два сельца — Гостомлю и Кривцово, вместе с 49 ревизскими душами с семьями<sup>19</sup>.

Леса здесь росло немного, местность была степная, земля хлебородная. Ее хорошо орошали маленькие, чистые речки. Одна из них называлась Гостомка или Гостомля; отсюда и пошло уточнение к некоторым лесковским рассказам: «из гостомельских воспоминаний». Покупка деревень, вместе называвшихся Паниным хутором, обошлась Семену Дмитриевичу в 20 тысяч рублей ассигнациями, которые он обязался уплатить Кривцову в трехгодичный срок, надеясь на продажу урожая. Из домов, в которых могли бы жить господа, в Панине был тогда только «курничок» — мазанка под соломенной крышей. Но той же зимой Лесковы приобрели еще одно сельцо — Гавриловское, вероятнее всего, с помощью родителей Марии Петровны, вспомнивших (хотя, скорее, принужденных к тому) об обещанных, но так и не отданных дочери пяти тысячах приданого. Тесть, Петр Сергеевич Алферьев, стал управляющим и в Гавриловском — здесь, в отличие от Панина, располагался уютный господский дом, куда Лесковы и переехали в начале 1839 года по санному пути. Семен Дмитриевич не желал оставаться в Орле и лишнего дня. В Гавриловском они провели еще две зимы, 1839/40 и 1840/41 года, пока не пришлось продать его за долги и обосноваться в Панине — окончательно к лету 1841-го<sup>20</sup>.

Дом на Третьей Дворянской улице покинули, но не продали; отдавать в чужие руки обжитое гнездо Марии Петровне было жаль. К тому же Лесковы пока не теряли надежды туда вернуться или хотя бы наезжать временами и сберечь жильё для детей — им всё равно предстояло учиться в Орле.

Надеждам этим не суждено было сбыться.

Сначала дом сдали в аренду за 60 рублей в год, но через два с половиной года, в марте 1842-го, всё-таки продали, чтобы в оговоренный срок выплатить остаток долга Кривцову, не пожелавшему ждать. Денег всё равно не хватило. Выплатить долг целиком Лесковым помог Луциан Ильич Константинов — новый родственник, второй муж Натальи Петровны. Михаил Андреевич Страхов умер, когда ей было 27 лет, четыре года спустя она снова вышла замуж, на этот раз счастливо.

Луциан Ильич, отставной гусар Елисаветградского полка, красавец, шеголь, после женитьбы сделался «садоводом, художником и мечтателем», как описывает его Лесков, а также совестным судьей и председателем Орловской уголовной палаты. Константинов принадлежал к тем немногим родственникам, кто заслужил от племянника-писателя

ласковое слово. Лесков ценил «дядю» за благородство, прямоту и за то, что он, как сказано в «Несмертельном Головане», был дворянин *au bout des ongles*\*. Но взгляды Луциана Ильича были «племяннику» чужды: слишком консервативен, очень уж активно защищает власть. Впрочем, быть милым и добрым ему это совсем не мешало. Наталья Петровна счастливо прожила с ним 38 лет.

Для Семена Дмитриевича и Марии Петровны переезд в деревню стал источником разочарований и едва посильных трудов, для их старшего сына — счастливой вольницей. Его подхватил поток свежих впечатлений, он нырнул в новые экзотические знакомства, неведомые прежде занятия и разговоры. Никогда в жизни он столько не гулял. Аннушку от него давно отставили: подрастали младшие — трехлетняя Наталья, двухлетний Алексей. Николаю зимой исполнилось восемь — совсем взрослый! Но не настолько, чтобы привлекать его к серьезной работе, и он бродил, где хотел, говорил, с кем желал, часто не возвращался даже к обеду. Родителям было не до него — они трудились: мать занималась младшими детьми, правила огород, гоняла кухарку, сушила матрасы и подушки, выписала из города письменный стол, чтобы отцу было где разложить бумаги. Лесковы владели тогда пятнадцатью крепостными душами с семьями. Крестьяне прозвали барыню Лесчихой. «Панок» уже не из книг и тетрадей постигал азы земледельческой науки, бился с мужиками, как мог.

Николай купался с ребятами в Гостомке, ловил пескариков, смастерил из тальника лук и пускал стрелы с шариком вара на конце. Он выучился ездить верхом и ходил в ночное, под тихий храп лошадей и клики ночных птиц слушал, наслушаться не мог рассказов у ночного костра. «Бежин луг» Тургенева он прочел много лет спустя и, как сам писал потом, «весь задрожал» от представленной там правды: с такими же деревенскими мальчишками он сам сидел летними росистыми ночами, варил в котелке «картошки», и говорили о том же.

О русалке, что сидит на дереве, спрятав в листве рыбий хвост, чешет волосы золотым гребнем и заманивает путников.

---

\* До кончиков ногтей (*фр.*).

О жутком разбойнике Кудеяре, кинувшем в колодец красавицу Василису, которая так и плачет там до сих пор. О зарытых им кладах.

О колдунах. Мальчики знали их по именам.

Самый страшный, Гусак, еще недавно жил в Гавриловском, в крайней избе, ближней к лесу. Он умел исцелять людей и скот, а мог навести порчу. Посадили его раз за колдовство в тюрьму, нарисовал он лодочку на стене, плеснул на нее водой — разлилось прямо в камере озеро. Сел Гусак в лодку, только его и видели... Снова стал колдовать. Беглеца опять поймали, крепко всыпали и назначили в наказание дворником в один орловский дом без жильцов. Так он и живет там, метет двор, в котором нет ни листочка и ни единого человека, любит только осень да зиму, когда летит листва, когда сыплет снег.

Николаю казалось, что он знает, где тот двор, чудилось, что и дворника этого он видел, когда гулял с Аннушкой: косматый седой мужик с бородой по пояс — Гусак это, видно, и был.

Слушал, слушал ночные рассказы у костра, укрывшись продымленным овечьим тулупом, задремывал незаметно. Гусак прямо на глазах уходил в сырую землю. На поля, в васильках и лютиках, выезжал добрый молодец на коне — молодой Егорий светлохрабрый, по локоть в красном золоте, по колено в чистом серебре. Во лбу всадника розовое солнце, в тылу — месяц, по плечам — звезды переходные.

Николай поворачивался спиной к костру. С небес опрокидывался ливень, разноцветного всадника размывало, краски текли каждая сама по себе, сливались в цветные озера. Он тянул их через тут же подобранную соломинку.

Первым пригубил пурпурный — и горящий этот цвет сейчас же окатил жаром легкие, сердце, затек в живот, налил свежей силой; всех теперь можно было одолеть. Следующий — перламутровый — сделал его лучезарным; изумрудный — прозрачный, как роса на траве в утренних лучах, — наполнил весельем.

Вот что он будет делать, как вырастет, — рисовать красками. Всадника Егория в розовом рассвете, страшного Гусака с метлой, пропитанное дымком ночное в красноватых отблесках.

Днем Николай заходил к дедушке Илье, мельнику, и сказка складывалась дальше.

Под мельничным колесом жил водяной — мирный, прирученный, свой. Не то что леший — тот гулял по чаще, любил посвистать, дерзал даже приблизиться к самой мельнице и густевшему рядом раkitнику, чтобы вырезать себе новую дудку, а потом играть на ней в тени у запруд-сажалок, пугать рыбу. У родников и речек хоронились его подружки-русалки и одна дальняя родственница — кикимора.

Как-то раз брызнул грибной дождик, Николай забежал в пустой амбар, смотрит — в углу кто-то сидит, скромно потупившись, вроде женщина, в пыльном повойнике, с золотушными глазами, но лицо что-то очень уж странное... она! Кинулся прочь, побежал куда глаза глядят. В лесу его страх сейчас же заметили: филины загукали, леший засвистал в зеленую дудку, а чтобы попугать посильнее, схватил Кольку за ногу, прижал намертво к земле. Насилу вырвался, еле жив воротился домой.

После всех этих ужасов Николая, чистосердечно признавшегося родителям, как он потерял каблук, засадили за Священное Писание, а мельнику Илье строго-настрого велели не дурить мальчику голову и держать свои басни за пазухой. Несколько дней Илья в разговоры с барчком не вступал, отворачивался и уходил, пока принесенная из родительского сада чашка вишен не растопила его сердце.

Шло последнее для семьи Лесковых спокойное лето. Отец еще был бодр душой, охвачен горячкой нового дела, не сомневался, что и здесь добьется успеха. Мать помогла ему во всё и тоже поверила, что и на новом месте жизнь будет выстроена, вот-вот. Но 1839 год, первый помещичий год Семена Дмитриевича, выдался неурожайным: хлеба почти не собрали, продавать осенью было нечего, значит, нечем и возвращать долги. Понадеялись на следующее лето, но весной крестьяне наотрез отказались сеять яровые, по приметам поняв, что и в этом году урожая не будет. Семен Дмитриевич говорил им об удобрении почвы, о перегное; мужики пожимали плечами и хоронились один за одного, долдоня прежде: *по всему*, барин, сеять никак нельзя. Самые бойкие даже объясняли ему: мало выпало снега зимой, сосульки висели внутри пустые. На Сретение, барин, какая мела метель! Еле откопались. А это самая первая примета, что урожая не жди. Посеешь осенью последние семена — зимой нечего будет есть, и тогда смерть.

Сама птичница Аграфена, которая — в это верила вся деревня — видела вещие сны, прорекала скорый и страшный голод. На Аграфенин роток не накинешь платок — она



была из вольных однодворок, женщина честная и гордая, и никто не сомневался, что сны ее скоро сбудутся.

Что было делать с этим глухим, но неодолимым сопротивлением?

Ненависть к телесным наказаниям Семен Дмитриевич вынес еще из бурсы, крепостных своих никогда не сек. Барыня в семинариях не училась и мужниных взглядов на битье не разделяла. Позднее Николай не раз вымаливал у нее милости для отосланных на конюшню; пока же Лесчиха только осваивалась с новой ролью. В конце концов ново-явленный помещик всё-таки повелел засеять пашни — и свои, и крестьянские — собственным, купленным впрок зерном, чтобы затем вместе с урожаем забрать у мужиков данное взаймы.

Но мужики и сновидица Аграфена оказались правы — весной не взошло ни колоса. Наступил страшный, голодный 1840 год, о котором Лесков рассказал много лет спустя в «Юдоли» (1892) с самыми живописными и жуткими подробностями: ели детей, девки отдавались за кусок хлеба. Во время этого голода умер еще один младший ребенок Лесковых, Миша, двух лет от роду (следующего сына назвали потом его именем); умерли несколько лесковских крепостных, умирали и многие вокруг.

После этой беды Семен Дмитриевич не мог заплатить генералу Кривцову не только долг, но даже проценты за него; Гавриловское и Кривцово были поспешно проданы, орловский дом на Дворянской улице сдан пока в аренду, но вырученные за него 60 рублей не спасли дела.

Так и получилось, что с покупки Паниного хутора и Гавриловского начался медленный финансовый крах семейства Лесковых.

## **Севск: бурса**

Отобедав гречкой, он успел как раз вовремя: в тарантас уже рассаживались знакомые пассажиры. Судариков спорил с молочным купцом, где лучше ярмарка — в Севске или Глухове. Ямщик озабоченно заметил, что в Севск надо бы поспеть засветло, там и заночевать.

В Севске когда-то учился Семен Дмитриевич. Николай никогда там не бывал, вот и поглядит, где родитель провел лучшие годы.

Отец... Так и не поговорили толком по душам, хотя однажды просидели вместе за книжками целую зиму, отец готовил его к гимназии — и подготовил. Семен Дмитриевич никогда не давил, а всё-таки легким человеком не был. Легкость, гибкость, уклончивость, дипломатия — дурные товарищи прямоте, честности и упрямству, отличавшим его с юных лет.

Семен Лесков происходил из «колокольных дворян», то есть порвал с родной средой духовных и получил потомственное дворянство вместе с чином коллежского асессора. Был он не робкого десятка и трудолюбец. Всё в нем — живое, энергичное лицо, оспинки на щеках, поступь, манеры — свидетельствовало: этот человек хорошо испробован и многое в жизни выдержит. Так оно и было, до поры.

Отец его, священник Дмитрий Петрович Лесков, служил в Казанской церкви села Лески (местные жители произносят название с ударением на первый слог) Карачевского уезда Орловской губернии\*, где в 1791 году Семен и родился. Происхождение названия села довольно очевидно — его окружали дремучие сосновые леса<sup>21</sup>. Упоминаются Лески с начала XVII века, находятся на речке Колохве. В 1770 году там на средства владельца, помещика Евтихия Ивановича Сафонова, началось строительство храма в честь Казанской иконы Божией Матери, оконченное только десять лет спустя.

Весь XVIII век в Лесках служили несколько поколений Лесковых. Сначала в храме Флора и Лавра — прапрапрадед писателя Семен, затем его сын Тимофей, дальше прадед Петр<sup>22</sup>, а уже в новой Казанской церкви дед Дмитрий. Дмитрий Петрович окончил Севскую духовную семинарию, служил при отце дьячком, в 1784 году женился на поповне из села Бутре Марфе Ивановне, а после смерти отца был рукоположен и поставлен на родной приход<sup>23</sup>.

Память о Марфе Ивановне в семейных преданиях Лесковых стерлась напрочь, даже имя ее выяснили только в XXI веке. Неудивительно: как и все матушки-попадьи, жила она безгласно, занималась хозяйством, рожала и растила детей — кроме Семена были еще Алексей, на два года старше, и Пелагея, появившаяся на свет в 1798 году. Ей и предстояло унаследовать приход в Лесках.

---

\* Ныне — Навлинский район Брянской области.

Лески стоят и поныне, пережив все бедствия русского XX века. В 1917 году усадьба последних владельцев села Муравьевых — Сергея Владимировича и его детей — была разгромлена крестьянами<sup>24</sup>. В 1920-м здесь был создан Лесковский сельский совет. Брянская газета «Наша деревня» за 1925 год описывает, как напившийся милиционер с компанией устроил в Лесках пьяный дебош<sup>25</sup>. В начале XX столетия здесь было около двух тысяч жителей, по материалам Всероссийской переписи 1928 года — 1889 человек в 330 дворах, по данным 2013-го — 194 человека.

Мы были в Лесках в конце марта 2019 года\*. Часть села — покосившиеся брошенные избышки, другая — живая, с трактором, горками нарубленных дров, лошадьми, рыжими курами и бойкими петухами, то и дело перебегающими дорогу. Живет в селе в основном старшее поколение. Вырваться отсюда трудно: даже автобус до ближайших деревень перестал ходить. Из кирпичей здания сахарного завода, построенного С. В. Муравьевым в начале XX века, в 1927 году сельчане сложили двухэтажную школу, которая и проработала до 2010-го. Когда школа закрылась, детям и их родителям нечего стало здесь делать.

Рядом с опустевшей школой — останки Казанской церкви, в которой служил дед писателя: фундамент, частично стены. Самый высокий, в небо уткнувшийся обломок, — в нахлобучке аистиного гнезда.

Немцы захватили Лески в 1941 году. В сентябре 1943-го, отбиваясь от советских войск, они поставили пулемет на колокольню, в ответ наши били прямой наводкой, но церковь до конца не разрушили. Советские саперы вроде бы хотели ее взорвать, но она так до конца и не поддалась. Тут-то и выяснилось, что помещик Сафонов строил крепко: толщина стен — шесть кирпичей. Выкорчевать кирпичи было почти невозможно — «лябастра закубрённая», как выразилась местная жительница. И всё же с тем, с чем не совладали снаряды, справились сельчане, постепенно растащив храм на печки и разобрав по домам иконы. Каждый год аисты прилетают и выводят на церковных руинах потомство; здешние жители их очень ждут, ими гордятся.

В 1950-е годы на волне интереса к Лескову Министерство культуры выделило деньги на создание в Лесках музея в его честь, но местные власти от щедрого предложения отказа-

---

\* Благодарю журналиста и поэта Евгению Коробкову за участие в организации поездки и за компанию.

лись: сам Николай Семенович в Лесках не бывал, отец его покинул село в 1810-е, а ради деда не стоило и затеваться.

Прихожане Казанской церкви конца XVIII века этому решению наверняка бы удивились: батюшку они очень уважали, ценили за честность, скромность и прямоту. Из соседнего села Шаблыкина к отцу Дмитрию приезжала чета Киреевских — Василий Александрович и Елизавета Федоровна — просить молитв о наследнике. И когда долгожданный сын родился, его мать в благодарность Богу и отцу Дмитрию за молитвы подарила храму богато украшенную Богородичную икону стоимостью в две тысячи рублей, а позже делала пожертвования регулярно — очень кстати: приход в Лесках был бедным. Вымоленный мальчик, Николай Васильевич Киреевский (1797—1870), стал кавалергардом, а по выходе в отставку — страстным охотником, знаменитым на всю Россию. Об охоте на зайцев, волков, лисиц и медведей, о любимых борзых собаках, назвав каждую поименно, он написал книгу «Сорок лет постоянной охоты: Из воспоминаний старого охотника» (1855).

Николай Семенович деда-священника никогда не видел — отец Дмитрий и его супруга умерли задолго до его рождения. Внук знал о них только из рассказов их дочери, своей тетки Пелагеи, и утверждал, что протопоп Савелий Туберозов в «Соборьянах» списан с родного деда, добавляя, впрочем, что реальный отец Дмитрий был проще, но протопоп «напоминал его по характеру». Если действительно так, значит, дед был характеру «нетерпячего», горяч и прямодушен. Судя по тому, как он обошелся с сыном, это похоже на правду.

Дмитрий Петрович отдал Семена в ту же Севскую духовную семинарию, где сам прошел курс наук. Перед Семеном Дмитриевичем лежал нелегкий, но понятный путь: по окончании семинарии служить в родовом приходе Казанской церкви — сначала дьячком на клиросе, затем подыскать невесту, жениться, а там и принять по наследству из рук отца приход и почтение прихожан. На каникулах Семен возвращался домой, помогал матери в огороде, отцу в храме; был остер, памятлив, чист сердцем. И насчет будущего отец Дмитрий не тревожился: *левитский род Лесковых яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится*. Но всё получилось по-другому. По преданию, изложенному его сыном-писателем в «Автобиографической заметке», Семен, вернувшись после семинарии в родное село, не стал лукавить, тянуть, отсыпаться после казенного житья на до-

машних перинах, отъедаться матушкиными пирогами — брякнул сейчас же, за семейным обедом: в попы идти не намерен.

Отец Дмитрий уронил вопрос, другой; сын отвечал твердо, как о давно решенном. Батюшка побагровел, сказал кратко: «Вон!» Семена точно ветром отнесло в сени. Страшен был отцовский гнев, но коса стукнулась о камень. Котомка, не разобранная с дороги, так и лежала у самой двери свернувшимся щенком, словно предчувствуя всё и дожидаясь хозяина у порога.

Вскоре юноша, покорясь отцовской заповеди, уже спешил из родимого дома вон, с мешком и 40 копейками меди за пазухой халата, которые мать едва успела всучить ему с заднего крыльца. Марфа Ивановна знала не хуже сына: спорить, убеждать, молить мужа о милосердии — бесполезно. И дня она не поглядела на Семушку, даст ли Господь свидеться еще?

Не дал. Это была их последняя встреча. Семейные предания, утверждавшие, будто бы столь резко прерванная духовная карьера Семена и ссора до того огорчили отца, что вскоре свели его в могилу, видимо, не соответствуют действительности: отец Дмитрий умер уже после 1815 года — через четыре-пять лет после изгнания сына. Марфа Ивановна скончалась еще раньше, но когда именно, неизвестно.

Семен бежал не из отцовского дома, не из Лесков — из священнического звания. Что гнало его прочь? Что придавало решимости нарушить порядок, поддерживаемый несколькими предыдущими поколениями Лесковых? Выйти из духовного сословия было не так-то просто. Николай Семенович написал потом, что причиной побега стало «неодолимое отвращение к рясе», которое Семен Дмитриевич испытывал «всегда». Положим, «всегда» — фантазия; разве мог мальчик, впитавший церковную жизнь с молоком матери, росший рядом с правдивым, любимым прихожанами отцом, с самого рождения ненавидеть отцовское дело? Очевидно, что «отвращение к рясе» зрело медленно и сожралось уже в годы учения в Севске.

Севская семинария располагалась на территории Спасо-Преображенского монастыря. Но монастырских помещений для всех ее нужд не хватало. Общежития в семинарии не было, мальчики снимали жилье в городе, ютились в тесных квартирах, по несколько человек в комнате. Хуже

других было тем, кто поселился в Замарицкой части города: путь оттуда шел через заболоченный луг, перебираться через него приходилось, сняв сапоги и засучив штанины, — и так до холодов, пока лед не сковывал хляби. Кровати были не у всех, бурсаки часто спали прямо на полу, завернувшись в тулуп или халат. Чесотку, простуду, вечный кашель и голод по равнодушию юных лет и непривычке к другой жизни можно было пережить — или не пережить: смертность была высокая. И всё же ужаснее голода и холода для вчерашних домашних мальчиков оказывалось бесчеловечие, обращенное в закон. За семинарские годы им предлагалось не только выучить латынь и богословие, но и преодолеть бездну между словами о любви к Богу, снисхождении к ближнему, которые им твердили на всех уроках, и реальностью — ежедневными порками, унижениями, пьянством преподавателей, жестокими потасовками учеников, беспощадной травлей слабых.

Семен начинал учиться вместе со старшим братом Алексеем — тот помогал ему обжиться на первых порах, защищал от старших драчунов, — а окончил семинарию один. Алексея забили до смерти в «каком-то семинарском побоище и из-за какого-то ничтожного повода»<sup>26</sup> — очень вероятно, у Семена на глазах.

Семинарские дрались друг с другом, с гарнизонными солдатами, с деревенскими, у которых с голодухи и из удальства воровали овощи на огородах. В «Соборянах» дьякон Ахилла рассказывал Савелию Туберовзу:

«...однажды он, еще будучи в училище, шел с своим родным братом домой и одновременно с проходившею партией солдат увидели куст калины с немногими ветками сих никуда почти не годных ягод и устремились овладеть ими, и Ахилла с братом и солдаты человек до сорока: “и произошла, — говорит, — тут между нами великая свалка, и брата Финогешу убили”»<sup>27</sup>.

Братца Семена Лескова убили, кажется, однокашники, будущие священники, которым предстояло служить литургии, проповедовать милосердие и жертвенность. Во что верили, чему поклонялись эти немые, сопливые, вечно голодные, обозленные на весь мир бурсаки? Ни во что и ничему, кроме кулака. Сила помогала выжить, да еще изворотливость и физическая выносливость. Силачам вообще жилось вольготнее, слабым, в особенности чувствитель-

ным — невыносимо. Бояться, болеть сердцем, тем более плакать считалось постыдным.

Били они, били и их. Секли на воздухе и на полу, розгами солеными и в две пары. Битье и зверства нередко сопровождалась прямой подлостью — воспитанникам приказывали сечь друг друга: аудитору\* — того, кто не смог ответить на уроке, а подопечному — своего аудитора, «налгавшего» учителю.

Началось всё, едва отец Дмитрий отвез сына в бурсу. Встретив во дворе, как потом выяснилось, учителя арифметики, мальчик поклонился старшему. Учителю это понравилось. Узнав, в какой класс определен новый воспитанник, он потрепал его по плечу и произнес мечтательно: «Жаль, голубчик, не ко мне ты попал, уж как бы я тебя сек!..»

Так они и жили — молодым полудиким стадом, которое то резвилось, играя в свои первобытные игры, то, набычась, долбило уроки и угрюмо шагало и шагало к выпуску, не чая его дожидаться. Единственным надежным лекарством от болезни, тоски, обиды, душевной боли был глоток спиртного. В старших классах к нему прибегали часто. Самый знаменитый летописец семинарских будней, автор «Очерков бурсы» Николай Помяловский, заболел известным русским недугом как раз в годы учения, чтобы потом полжизни провести в кабаках, трущобах и умереть, не дожив до тридцати лет. От той же напасти гибли десятки, сотни вчерашних обитателей духовных училищ.

По окончании первой ступени обучения и переходе из училища в семинарию, наждаком огрубив души учеников, подготовив к взрослой жизни под архиереями и навек выбив веру в справедливость от высших, порки наконец прекращали. Но лгать, хитрить, зубрить от доски до доски нужно было по-прежнему — этому в семинарии учили превосходно, а вот молиться, любить — нет. О том, что души учеников нуждаются не только в окрике и лозе, не думали даже лучшие педагоги. Семен Дмитриевич не хотел иметь со всем этим ничего общего, никогда.

Помилуй Бог, неужели в бурсацкой жизни и в самом деле вовсе не бывало хорошего и семинарию населяли одни лицемеры?

---

\* А в д и т о р (аудитор) — здесь: семинарист, назначенный учителем проверять задания у товарищей.

Семен Егорович Раич, соученик Семена Дмитриевича, впоследствии поэт, переводчик с древних языков и домашний учитель Федора Ивановича Гютчева, свидетельствует: бывало и доброе.

Судьбы двух Семенов отчасти схожи. Семен Раич родился на год позже тезки, в 1792-м, а по окончании семинарии также вышел из духовного звания. На бедном сельском приходе служил и дед его, и отец, но отец к моменту поступления сына в духовное училище уже умер. Изначально Семен носил фамилию Амфитеатров, но в 1820 году взял другую — родовую.

Его старший брат Федор, в монашестве Филарет, также окончил семинарию в Севске, а вскоре сделался ее ректором и опорой осиротевшей семьи. Со временем Филарет стал митрополитом Киевским и Галицким и не раз бывал героем прозы Лескова. И во «Владычном суде», и в «Печерских антиках», и в «Мелочах архиерейской жизни» этот «благодушнейший иерарх русской Церкви» описан с самым теплым чувством: «Он родился со своею добротою, как фиалка со своим запахом, и она была его природою»<sup>28</sup>. Аромат его добродетелей донесся и до XXI века — в 2016 году он был канонизирован Русской православной церковью.

Севскую семинарию Филарет возглавил в 1802 году, в 25 лет. Сам недавний ее выпускник, он старался беречь учеников — его даже прозвали Милостивым, как и его святого покровителя Филарета, византийского землевладельца VIII века. Севск стоял на болотах, климат был гнилой, свирепствовали болезни, многие ученики умирали. Филарет начал ходатайствовать о переводе семинарии в губернский Орел. Делал он это в обход своего непосредственного начальства, епископа Орловского и Севского Досифея, понимая, что тот его не поддержит, — и оказался прав: Досифей, узнав о планах ректора, так разгневался, что велел схватить его, запереть в башню монастыря и пригрозил наказать батогами. Доброжелатели спасли Филарета от расправы и заключения, но не от перевода в захолустную Уфу, в бедную неустроенную семинарию. Досифей очень старался, но и он оказался не всесилен; в конце концов и от уфимского плена Филарет был избавлен. Однако семинарию из Севска в Орел перевели только 20 с лишним лет спустя, в 1827 году.

Тем не менее Семен Раич о годах учения вспоминает с благодарностью, не забыв отметить, что семинаристов берегли от простуд: «Конечно, наши семинарии имели — может быть, и теперь имеют — свою черную сторону, но есть у



них и белая сторона. Не знаю, как в мое время развивалось умственное и нравственное образование в других епархиях, но в Орловской оно, несмотря на крайнюю ограниченность средств, было, можно сказать, в цветущем состоянии; этому способствовали по преимуществу две замечательные особы: епископ Досифей и ректор семинарии Филарет, теперешний киевский митрополит... Обе эти особы умели пробудить в нас любовь к наукам не строгими, жестокими мерами, но кротостию, снисхождением; они вели нас в храм просвещения не по тернам, а по цветам; в доказательство приведу два-три примера. При наступлении весны, во время ростепели, мы, из опасений простуды, недели по две освобождаемы были от классов и занимались по квартирам экстраординарно; весь май слушали мы учителей без обязанности ежедневно сказывать им уроки — короче, мы беззаботно праздновали у весны на новоселье. Весною и летом классы наши устраивались под открытым небом, в рощах (у нас их было две: одна березовая, другая дубовая), — и это нисколько не мешало учению, не останавливало его, напротив, подвигало вперед, давая простор мыслям и в то же время развивая и укрепляя физические силы; “*mens sana in corpore sano*” — вот правило, которого благоразумное начальство наше никогда не теряло из виду. Задавали нам темы для сочинений в классе пиитики или риторики — и мы, бывало, разбредемся по рощам, по полям, вдохновимся и, увенчанные васильками, колосьями или молодыми древесными ветвями, возвращаемся с готовыми сочинениями и читаем их по тетрадам или импровизациею...»<sup>29</sup>

С таким же восторгом Раич описывает своих учителей, в особенности преподавателей пиитики и риторики. Среди них были и в самом деле люди замечательные — например, Яков Сильвестров, переведший с немецкого трехтомное философское сочинение Иоганна Фридриха Даленбурга «Бог в природе, или Философия и религия природы», и Иван Михайлович Фовицкий, знаток российской и польской словесности, впоследствии ставший в Варшаве наставником Павла Константиновича Александрова, побочного сына великого князя Константина Павловича. В семинарии выписывали журнал «Вестник Европы», и значит, воспитанники читали не только Овидия, Горация, Вергилия, но и современных отечественных авторов.

---

\* В здоровом теле здоровый дух (*лат.*). Раич переводит этот афоризм как «Здоровая душа в здоровом теле».

Семен Егорович вспоминает, что наказывали бурсаков относительно мягко — лишением высшего места в классе или блюда за столом. В серьезных проступках воспитанники должны были признаваться публично, после вечерней молитвы — так начальство боролось с наущничеством. Для натуры свободолюбивой и этот обряд вряд ли был приятен. И всё же допустить, что в Севской семинарии во времена Филарета нравы были мягче, чем в иных духовных школах, можно — конечно, с поправкой на то, что Раич был родным братом ректора, и на его идеалистический склад ума, который позднее друзья-литераторы называли «олицетворенной буколиккой»<sup>30</sup>.

Но в чем-то он точно был прав. Например, в Севской семинарии, по-видимому, действительно хорошо учили древним языкам и российской словесности. Недаром Семен Дмитриевич, потерпев фиаско в сельскохозяйственных преобразованиях, утешался переводами древних авторов, в особенности Горация. Любовь эта, а вовсе не отвращение и ненависть, которую испытывали к латыни многие бывшие семинаристы, была привита ему, конечно, в Севске и в трудную минуту скрашивала тяготы деревенской жизни.

И всё же ни Семен Раич, ни Семен Лесков не пожелали остаться в духовном звании. Раич всегда хотел сделаться поэтом и начал писать стихи уже в семинарии, но вынужден был их сжигать. После семинарии он мечтал вовсе не об отпеваниях и крещениях на приходе, а об учебе в Московском университете, занятиях изящной словесностью, сочинительством и переводами. Все сбылось, но совсем не сразу: до поступления в университет он намыкался — служил и подканцеляристом, и домашним учителем. Выйти из духовного сословия было трудно. «Боже мой, сколько надобно было твердой надежды на Промысел Небесный для того, чтобы решиться на этот переход», — писал Раич. В его случае помогли частые лихорадки (последствие севского климата) — он сумел уволиться из церковного звания по болезни. Трагедии, подобной той, что разыгралась в доме Лесковых, не случилось — некому было укорять его, кроме Филарета, но владыка был сострадателен, хотя за глаза выбор младшего брата не одобрял.

«Весьма не нравится мне и самое-то житьишко Семена колотырное (то есть бедное и суетное. — М. К.)... да и ремесло-то его и занятие какое-то журнальное. Пиитическое, а главное, всё фантастическое... существенного ни-

чего нет»<sup>31</sup>, — сокрушался он 2 июня 1832 года в одном из писем родным. И это в ту пору, когда Семен Раич был уже известным литератором и переводчиком, переложившим на русский «Георгики» Вергилия, знаменитые рыцарские поэмы «Освобожденный Иерусалим» Торквато Тассо и «Неистовый Роланд» Лудовико Ариосто, — «существенное» в его занятиях обнаружить было несложно. Но там, где Филарет ворчал, Дмитрий Петрович Лесков неистовствовал.

Однако и выход Семена Лескова из духовного звания бил по его родным больнее: он отказывался от главного семейного достояния. Собственный приход, ради получения которого многие плели хитрейшие интриги, лишь бы жениться на поповне, Семену доставался даром, на травяном блюдецке их скромного села. Он же развернулся и пошел в другую сторону.

Впрочем, за ворота отчего дома Семен Лесков выходил не с одной котомкой за плечами и материными копейками, но и с багажом обширных знаний — не только по греческому, латыни, немецкому и богословию, но и по медицине, географии, основам землемерия, к тому же с закалившейся за время бурсацкого житья волей, воловьим терпением, звериной выносливостью. Это давало ощущение всесилія. Он всё мог! Он не побоялся самого страшного — отцовского проклятия.

Не учел Семен Дмитриевич одного: отпечаток, который оставила на нем бурса, всегда будет сквозить в его повадках, манере говорить, слушать, мыслить и действовать. Как бы далеко ни отгребся он от своего сословия в житейском и карьерном плане, он навсегда остался «поповичем»\*.

В семинарии Семен Дмитриевич не утратил веры не только в себя, но и в Божий промысел, он по-прежнему был христианином, хотя и не совсем православным. Свой склад вероисповедания — почитание Христа, но не церковный обряд — Лесков-старший передал и сыну. Вот как пишет об этом сам Николай Семенович:

«Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан

---

\* «Природные» дворяне всегда несколько брезгливо относились к выходцам из духовенства (см.: *Манчестер Л. Поповичи в миру: духовенство, интеллигенция и становление современного самосознания в России.* М., 2015. С. 47—50).

отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом — она читала дома акафисты и каждое первое число служила молебны и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, что он “творил сие в его (Христа) воспоминание”. Ко всем прочим обрядам он относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал “не служить по нему панихид”. Вообще он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших и при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил и разговоры о них считал пустыми и вредными, но подолгу малывался ночью перед греческого письма иконою Спаса Нерукотворенного и, гуляя, любил петь: “Помощник и покровитель” и “Волною морскою”. Он несомненно был верующий и христианин, но если бы его взять поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было его признать православным, и он, я думаю, этого бы не испугался и не стал бы оспаривать»<sup>32</sup>.

Николай долго оставался внешне воцерковленным, чтил и обряд, и Церковь; но из приведенного фрагмента становится ясно, откуда тянется его позднее увлечение протестантизмом и толстовством.

Из родительского дома Семен Лесков направился не в уездный Брянск, а в губернский помещичий и купеческий Орел. Учитель из семинаристов — обычное дело: кого было брать к детям, как не их? Добросовестный, безусловно честный Семен Дмитриевич немедленно вошел в моду, дворяне вставали на него в очередь. В конце концов его переманил к себе Михаил Андреевич Страхов. Вместе со страховскими детьми Семен Дмитриевич начал учить и дочь управляющего, Петра Сергеевича Алферьева. Маша ему приглянулась, хотя, как потом говорили в семье Лесковых, четырнадцатилетняя ученица первая полюбила учителя. Характер у Марии Петровны был сильный, и вполне вероятно, что именно она подсказала Семену Дмитриевичу, кого ему выбрать в жены.

Но вчерашний бурсак без гроша за душой понимал, что пытаться получить в жены дочку управляющего, к тому же дворянку — дело безнадежное. Семен Дмитриевич отправился на Кавказ, служил там при винных операциях, скопил небольшое состояние (около семи тысяч рублей), выслужил чин коллежского асессора; пусть это было и

«кавказское ассessorство»\*, однако право на потомственное дворянство давало и оно.

В этом, уже «невздорном» (VIII класса) чине Семен Дмитриевич вернулся в Орел и предложил Марии Петровне руку и сердце. Родителям, как и следовало ожидать, жених не понравился: чужак, бурсак, без обхождения, излишне прям; образован, но к чему в науке совместной жизни философия и древние языки? Семен Дмитриевич так и не стал для Алферьевых своим, и всё же они рады были сбыть с рук младшую дочь, почти бесприданницу, за которой, впрочем, пообещали пять тысяч рублей, хотя отдали их очень нескоро.

Дальнейшее известно.

Чиновничью карьеру Семен Дмитриевич самовольно оборвал, как до этого поповскую, а после неудач в ведении панинского хозяйства остыл и к помещичьим затеям. Преодолевать трудности, шагать напролом было ему почти в радость, играть по сложным житейским правилам он умел, а вот бороться с ползучей деревенской невзгодой, эпидемиями, неурожаями, с топкой мужичьей философией, в которой вязнешь хуже, чем в болоте, — словом, с тем, что не победить ни сильной волей, ни природной сметкой, можно только принять как стихию, как волю небесную, — оказался не в силах.

Вместо масштабных задач и неизбежных трудностей, сопряженных с чиновничьей службой, в Панине было только «маленькое однодворческое хозяйство, в котором не к чему было приложить рук»<sup>33</sup>. «Сам приказчик, сам боярин, сам холоп и сам крестьянин, — сам и косит, и орет, и с крестьян оброк дерет», — гласил куплет одной забытой пьесы<sup>34</sup>. Тратить себя на хозяйственную маету, следить, когда поспеют греча и овес, зазывать помольцев на свою мельницу, убеждая в доброкачественности жерновов и честности мельника, искать покупателей на пеньку, уток, индюшек... Для столь ничтожных целей стоило ли беспокоиться, двигаться, жить? Безжалостный сын написал потом: «Неурожай, дразги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести,

---

\* Во время Кавказской войны (1817—1864) для привлечения чиновников на службу в учреждения Кавказского наместничества производило в коллежские ассессоры проходило в обход установленного порядка — без экзамена и минуя несколько ступеней карьерной лестницы; получивших чин таким образом в шутку называли «кавказскими ассессорами».

о которых мы позабываем, предаваясь буколистическим мечтаниям, так его выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга»<sup>35</sup>, — и никогда, похоже, не простил отцу слабости, слома.

Мать не переломили ни долги, ни голод, ни малодушие мужа. «Марья Петровна была женщина большой воли, трезвого ума, крепких жизненных навыков, чуждая сентиментальностей и филантропии, властного нрава... Несмотря на большую разницу лет между супругами, домом и всем хозяйством правила она. Резко отличалась от своего, в панинские годы, чудившего мужа, была всесторонне деловита и практична, радея о насущном и не возносясь выспрь»<sup>36</sup>, — писал о ней внук Андрей в знаменитой биографии отца.

Сельского быта не понимала и Мария Петровна, но у нее было свое большое дело: накормить, обшить, вылечить. У Лесковых, имевших троих детей — Николая, Наталью (1836—1920) и Алексея (1837—1903), — в Панине родились еще четверо: Михаил (1841—1889), Василий (1844—1872), Ольга, в замужестве Крохина (1846—1893), и Мария (1847 или 1848—1860), умершая от кори подростком. Смастерить из собственного старого платья бешметы сыновьям, закрыть дыру на башмаке сахарной бумагой, отдать местному умельцу прохуdivшиеся сапоги, чтобы залатал их козырьком отцовской фуражки, — забот у Марии Петровны хватало.

Муж от домашних дел держался в стороне. С окрестными дворянами он не водился, жил анахоретом, хандрил над книгами. Для уездной аристократии Семен Дмитриевич был чужак и чужак. В конце 1830-х — начале 1840-х годов русское барство еще не истощилось. Помещики содержали охоту, дворню, шутов, приживальщиков, устраивали балы и спектакли, играли в карты, пировали — благо крепостные поставляли к столу всё необходимое. Они жили в свое удовольствие, мало беспокоясь о том, что их имение заложено или даже перезаложено в Опекунском совете. Как было принять этот вечный пир разночинцу, человеку труда, никогда не знавшему праздности? Ни охотиться, ни танцевать он не умел.

И всё же изредка Лесковы выезжали — например в соседнее Зиновьево, где жило большое и самое образованное в округе семейство Ивановых. В зрелые годы Лесков утверждал, что пристрастился к чтению благодаря двум здешним

младшим барышням (всего их было четыре), начитанным и даровитым: «Им я обязан первым знакомством с литературой, которая потом для несчастья моей жизни скоро обратилась в неодолимую страсть»<sup>37</sup>. Страсть эта поддерживалась большой домашней библиотекой, из которой Николаю давали книги. Особенным авторитетом, и не только у домашних, пользовалась бабушка, Настасья Сергеевна Иванова, племянница писателя Константина Петровича Масальского. Настасья Сергеевна стала одним из прототипов мудрой и прямой княгини Протозановой в «Захудалом роде» и «боярыни» Плодомасовой в «Соборянах». Семен Дмитриевич в этих выездах, похоже, не участвовал, тосковал дома один.

Однажды летним вечером он пошел прогуляться, развеять грусть. Домой принес завернутые в платок грибы, собранные на прогулке, попросил Марию Петровну зажарить их в сметане на ужин и с аппетитом поел<sup>38</sup>, а через сутки внезапно умер — считалось, что от холеры<sup>39</sup>. Похоронили Семена Дмитриевича в простом деревянном гробу, сколоченном мужиками, на Добрынинском погосте в Панине.

Старшего сына в это время в Панине не было — он уже сделался служилым человеком, трудился канцеляристом в Орловской уголовной палате и обстоятельства смерти отца узнал от родных<sup>40</sup>.

Прощальное письмо с заповедями тогда еще единственному сыну Семен Дмитриевич написал задолго до кончины, в 1836 году, видимо, заболев и собираясь в последнее свое путешествие:

«...Итак, выслушай меня и, что скажу, исполни: 1-е. Ни для чего в свете не изменяй вере отцов твоих. 2-е. Уважай от всей души твою мать до ее гроба. 3-е. Люби вообще всех твоих ближних, никем не пренебрегай, не издевайся. 4-е. Ни к чему исключительно не будь пристрастен; ибо всякое пристрастие доводит до ослепления, в особенности ж к вину и к картам; нет в мире зол заманчивей и пагубнее их. Я просил бы, чтоб ты вовсе их не касался. 5-е. Вообще советую тебе избирать знакомых и друзей, равных тебе по званию и состоянию, с хорошим только воспитанием. 6-е. По службе будь ревностен, но не до безрассудства, всегда сохраняя здоровье, чтобы к старости не быть калекою. 7-е. Более всего будь честным человеком, не превозносись в благоприятных и не упадай в противных обстоятельствах. 8-е. Между 25 и 35 годами твоего возраста советую тебе искать для себя подруги, в выборе которой наблюдай осторожность, ибо от нее

зависит всё твое благополучие. Ни ранее, ни позднее сих лет я не желал бы тебе вступать в супружеские связи. 9-е. Уважай деньги как средство, в нынешнем особенно веке, открывающее пути к счастью; но для приобретения их не употребляй мер унижительных, бесславных. 10-е. Будь признателен ко всем твоим благодетелям. Черта сия сколько похвальна, столько ж и полезна. 11-е. Уважай девушек, дабы и сестра твоя не подверглась иногда какому ни есть нареканию. 12-е. Кстати о сестре, она тебя моложе пятью годами. Когда будешь в возрасте, замени ей отца, будь ей руководителем и заступником. Нет жалчее существа, как в сиротстве девица, заметь это и поддержи последнюю мою о ней к тебе просьбу, ты утетишь тем меня даже за могилу. 13-е. Преимущественно хотелось бы мне, чтоб ты шел путем гражданской службы, военная по тягости своей и по слабости твоего сложения скорее может тебя погубить»<sup>41</sup>.

Адресату было тогда пять лет; после этого Семен Дмитриевич прожил еще 12 лет и порадовался рождению нескольких сыновей. Николай Семенович прочитал это завещание уже после смерти отца и сохранил его в своих бумагах. Едва ли не все отцовские заповеди он впоследствии нарушил, хотя путем гражданской службы идти всё-таки попытался — поступил служить в Орловскую уголовную палату.

Второй сохранившийся документ, написанный Семёном Дмитриевичем, — ходатайство на имя председателя уголовной палаты Дмитрия Николаевича Клушина, в котором отец просит о «внимании» к его старшему сыну — «с характером сильным» и способностями «достаточными». Письмо так и осталось в бумагах Николая Семеновича, возможно, как раз и проявившего характер и не пожелавшего, чтобы отец о нем просил.

## Глухов — Киев

Глухов встретил тарантас колокольным звоном — отходила обедня. Вдоль дороги теснились заросли развесистой вербы; когда колокола начинали петь высоко, казалось, перекликаются серебристые шарики на острых темно-вишневых ветках.

На въезде в город тарантас качнулся, закатился в яму неведомой глубины, стукнул передними колесами и накрё-



нился. Пассажиры охнули, возница стегнул лошадок раз и другой; те поднатужились, коренной дернулся, захрипел, пристяжные потянулись. Вывезли. Но до того твердая поступь тарантаса стала робка и нерешительна, будто он совершил какую-нибудь глупость. Еле доползли до станции. Кучер, молодой румяный парень, соскочил с козел, пощупал, пошатал спицы и сообщил, что от удара о невидимое препятствие, находившееся в той самой яме, в переднем колесе лопнула шина, а в заднем вывалились три спицы.

Раньше обеда выезд не предвиделся.

Николай пошел бродить по городу, искать знаменитую Малороссийскую коллегию и дворец гетмана Скоропадского, о котором столько читал и слышал, но ничего не нашел — ни коллегии, ни дворца. Глухов из резиденции малороссийского гетмана сделался самым обыкновенным уездным городом — с выскакивающими из дворов пыльными курами, лужами в улицу шириной, унылыми торговыми рядами, широкой площадью и зевающими во весь рот приказчиками за прилавками.

Все разочарования искупил трактир рядом со станцией — опрятный, с приличной мебелью, чисто одетым половым, мешавшим русский с малороссийским.

Малороссия уже поглядывала отовсюду: умывальный кувшин был покрашен в густой васильковый цвет, по рушнику вился розовый узор, борщ подали с салом и пампушками. К борщу прилагались морс и сливянка — да с таким ароматом, будто прошла самая деликатная панночка с раздушенным платочком в белой руке. Сливянка и сытный обед подняли дух утомленного долгой дорогой путешественника. Отяжелев, но повеселев, он отправился на станцию, где узнал, что их румяный возница проявил недожигную расторопность, тарантас в полной исправности и готов отправиться в путь.

Все снова расселись; Судариков примолк, от самого Севска ему неможилось — в севском трактире встретил старого приятеля, и они славно кутнули. Теперь Судариков сидел прозрачный, бледный, не ел и не пил. «Порастрясло добра молодца», — не без удовольствия повторял купец, сверкая крыжовенными глазами, а приказчик моргал строго, глядел с укором.

Тронувшись, повозка уже за околицей въехала под широкую сливовую тучу, которая немного проползла над ними и начала побрызгивать дождиком. Стало сыро, сум-

рачно и как-то серо. Мелкий дождь так и сыпал на распыханные поля, деревни — и, несмотря на пробившуюся везде свежую зелень, дорожная скука надавила на сердце. Попутчики задремали, а ему не спалось.

Как-то встретит его дядюшка? Ученый, доктор, профессор, а он-то, он... Недоучка — так звала его в сердцах мать. И про университет Киевский он всем этим дорожным соседям соврал. Поступить он туда никак не мог: Орловскую гимназию бросил, не окончив третий класс, дальше учиться не пожелал. Потом он всё придумает, объяснит, уже стариком напишет, что свершилось это по великой тяжкой необходимости:

«Обучался в Орловской гимназии. Осиротел на шестнадцатом году и остался совершенно беспомощным. Ничтожное имущество, какое осталось от отца, погибло в огне. Это было время знаменитых орловских пожаров. Это же положило предел и правильному продолжению учены. Затем — самоучка»<sup>42</sup>.

Но сиротство было тут ни при чем: он покинул гимназию 31 августа 1846 года, за два года до смерти отца. Да и горел Орел в другое время. «Мать корила сына и леностью, и безучастием к интересам семьи, как и к своим собственным, — писал Андрей Николаевич Лесков. — Через сорок лет, за полгода до своей смерти, на мой вопрос, в чем тут было дело, она, без тени прощения или забвения давней обиды, жестко отрезала: “Не хотел учиться!”»<sup>43</sup>.

Так же как когда-то отец, сообщил он своим родителям, что желает изменить свою жизнь и в гимназии учиться дальше не станет. Семен Дмитриевич, уже бессильный, кротко листавший любимых римлян, от охватившей душу апатии, а возможно, вспоминая о собственном молодом бунте против рясы, почти не возражал. Мать бушевала и всё не могла понять.

Почему отказывается учиться? Ленился? Недостает усердия или любви к наукам? Но она знала: когда хотел — был он и усерден, и терпелив, и дотошен. Первые два года Николай действительно показывал неплохие успехи, но в третьем классе был оставлен, отсидел за партой еще год — и снова не был переведен в четвертый. Учиться в том же классе в третий раз было невозможно, позорно. Но и уйти из гимназии в письмоводители — понижение статуса. Гимназист в «хороших домах» был своим, подканцелярист — чу-

жим. Ему предстояло немало унижений, объяснений — мучительных, до конца жизни.

Юный Лесков об этом не думал. Он этого пока не знал. Не «не хотел» — не мог больше выносить эту мертвую скуку, зубрежку и ложь. Он их ненавидел, почти всех. Только математик Бернатович ему нравился да отец Ефим, давний приятель отца, остальные — инспектор Азбукин, с удовольствием отправлявший гимназистов на порку, злобный пьяница Функендорф, засыпавший его «единицами» по немецкому, директор Кронеберг, проклинаемый всеми, отшвырявавший ученикам пощечины, а в ответ получивший от них письмо, что его дом скоро подожгут, — нет!

Довольно.

Едва Николаю исполнилось 16 лет, он был причислен ко второму разряду канцелярских служителей Орловской палаты уголовного суда, с жалованьем 36 рублей серебром в год. Обыкновенные, крепко сшитые сапоги стоили девять рублей. Будь Лесков дворянином, его зачислили бы писцом не второго, а первого разряда с окладом в два раза большим, 72 рубля. Но Семен Дмитриевич за 15 лет после получения асессорского чина, дававшего право на потомственное дворянство, так и не собрался подать прошение о его получении. Только теперь, поддавшись уговорам семейства, он отослал наконец необходимые бумаги. Год спустя, в 1848-м, надворный советник Семен Дмитриевич Лесков был, наконец, официально утвержден в дворянском достоинстве; сам до этого он уже не дождал, зато Николая сейчас же причислили к канцелярским служителям первого разряда. Сильно ли порадовало его повышение?

Как только началась служба, нудная, пыльная, в комнате с годами не мытыми окнами, стертыми лицами — во сто крат унылей гимназической тягомотины, к сердцу подступила обида... на себя, на отца. Нужно, совершенно необходимо было окончить гимназический курс, перетерпеть; отец обязан был настоять, крикнуть, пригрозить, а не строчить униженные рекомендательные письма. А теперь что? Уголовные дела.

*О подкинутом младенце;*

*о краже золотого кольца;*

*о нанесении рядовому Мамонтову удара;*

*о намеревавшейся лишить себя жизни дворовой девке Филитьевой;*

*о похищении денег из орловской Успенской церкви;*

*о краже дворовым человеком князя Голицына Матвеем  
Исаевым из церкви села Богодухова 147 р. 90 коп. серебром;  
о подкинутом к дому брагинского мещанина Ефима Дол-  
гинцева неизвестного мужского пола младенце.*

Он захлебывался в этих мелких, крупных и средних кражах, хищениях, потасовках. Любопытно было только первые две недели, после этого обнаружилось: самого интересного — убийств — не случалось, драки редки, курьезы одни и те же: кражи да хищения, хищения да кражи, буква к букве, бумага к бумаге. И так целую жизнь?

Нет, дорога в университет не была перед ним закрыта — требовалось только дождаться исхода пяти лет, отсчитав от 1843 года, когда он поступил в третий класс. Закон давал ему время пройти курс наук самостоятельно, если не желает учиться со всеми. Затем, после 1848 года, он мог ехать хоть в Петербург, хоть в Москву, хоть в Киев, держать вступительные экзамены и стать студентом. Только, чтобы сдать экзамены, требовалась подготовка; нужно было заново зубрить латынь, немецкий, французский, историю, алгебру — когда? Он ежедневно ходил в присутствие. И на какие деньги? Пусть репетиторы стоили гроши, он со своим жалованьем был почти нищим. Поэтому пока так.

*Об избииении в питейном доме села Хотетова помещиком  
того же села П. Р. Анненковым и малороссиянином А. Лысен-  
ковым мещанина Ф. Клевцова;*

*о сгоревшем рождественском доме;  
о неправильно испрашиваемом от доброхотных дателей  
подаянии на построение церкви в селе Уткино крестьянами  
помещика Снечинского Александром Архиповым и Сергеем  
Волковым;*

*о подозрении в краже орловским мещанским сыном Мак-  
симом Петром Пшенкиным.*

Однообразна, убога жизнь присутствия. Так и тянуло вывести вместо всей этой тоски: *Орел да Кромы — первые воры; город Карачев — на поддачу; город Ливны — всем ворами дивны; город Елец — всем ворами отец.*

Быть себе господином — вот чего он желал, но лишь теперь увидел: он им и был. В гимназии он жил на воле, мать с отцом трудились в Панине, он жил не тужил, снимал угол у повивальной бабки Антонида Порфирьевны, вкусно ел, сладко пил.

Жительницы Орла по причинам самого естественного порядка никогда не оставляли Антонида Порфирьев-

ну вниманием: приносили чаю, сахару, кофе, варенья на именины, на большие и малые праздники, в «причашенев день», а после каждого принятого ею новорожденного оставляли еще «на кашницу» — вареного, печеного, жареного. Сама Антонида Порфирьевна употребить эти раблезианские горы, понятно, не могла, так что постоялец ее, как и сын Никишенька, и служанка, давно заплывшая жиром, не голодали. Можно было и позубрить, и почитать учебники, можно было дотерпеть<sup>44</sup>.

А теперь... но не возвращаться же в класс! Вот смеху будет, ляжет позорное пятно на целую жизнь. Нет уж, служи, яко гоголевский Акакий Акакиевич, скрипи усердно перышком, дыши пылью и не чихай.

*О краже муки у купца Меркула Федорова;  
о намерении крестьянина Косачева украсть лошадь;  
о случившемся в доме мещанина Голикова пожаре;  
об оказавшемся мертвом теле Ивана Шевмакова;  
о краже у портного Данилова имущества.*

Всей радости — стремительно, небрежно подписаться «Письмоводитель Н. Лесков» да посмеяться на заднем дворе с такими же канцеляристами над очередным казусом или посудачить о загадочном случае. Не оттуда ли, не с тех ли пор и появилась у него любовь к краткой законченной истории, анекдоту?

И вот что еще он успел понять, пока служил: человек, даже хорошо ему знакомый, угодив в «дело», менялся — внезапно наливался новым значением, точно попадал в книжку про самого себя. Занесенная на бумагу реальность преображалась. Вроде и тот же Уточкин, какого знал он по торговым рядам, — жилистый, с красным яйцом лысины, вылезшим из-под картуза, с пегой бородачкой и быстрым, хитрым зырком таких же пегих глаз, а как начнешь записывать «о покраже у Орловского купца Уточкина из лавки сахару, чаю и денег», уже другой — серьезный, осанистый. Матвей Сергеевич.

Вынесен был из казенной службы и другой урок. В дни выплаты жалованья сослуживцы звали его «закидывать щенков». Пили молодые люди сильно: «...целой компанией до бесчувствия; просыпаясь, находили себя в комнате на кровати, на диване, на голом полу, без подушек, без одеяла, — одетыми, полуодетыми и совершенно раздетыми, с головой на чужих ногах. Страшное было время!..»<sup>45</sup>

Проезжали село, большое, небогатое: соломенные крыши, зеленые сады, сбрызнутые розовым, — яблони, вишни; потянуло цветочным ароматом. Над садами поплыла песня — сразу в несколько голосов, на малороссийском наречии, под тихое брэнчание гитары. Николай вздрогнул. Эту песню он знал.

Скажи мени правду, мий добрый козаче,  
Що дияты сердцу, як серце больть?

Стройно выпевали парни и девушки, и спокойный ритм и сила наполняли эту как будто грустную песню весельем, счастьем или, по крайней мере, обещанием его.

Як серце застогне и гирко заплаче,  
Як дуже без щастя воно защемить...

Пан Опанас ее спивал. Николай разулыбался.

Пан Опанас — Афанасий Васильевич Маркович (1822—1867) — вот кто светил ему на темную дорогу. В разные гости хаживал Николай в Орле: благодаря отцу, чье происхождение в городе не забыли, посещал духовных; благодаря тетке Наталье Петровне и второму ее замужеству был вхож и в высший орловский свет. Видел в ее доме даже грозного губернатора Петра Ивановича Трубецкого. Бывал и у давних товарищей, еще с гимназической поры; часто заглядывал к Якушкиным — Виктор, а недолгое время и Семен были его однокашниками; про старшего, Павла, будущего фольклориста, в гимназии ходили шуточные легенды. У Якушкиных Лесков и познакомился с паном Опанасом.

Тот жил в Орле «на высылке». Выпускника Киевского университета Марковича сослали сюда по «костомаровскому делу». Николай Иванович Костомаров, университетский профессор, историк, создал с единомышленниками очередное общество — Кирилло-Мефодиевское братство. В него вошла разночинная киевская интеллигенция, в том числе известные литераторы Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Николай Савич. «Братчики» желали создать на месте Российской империи соединяющую все славянские народы федерацию с Украиной во главе и отменить на ее территории крепостное право. Перейти от обсуждений к делу они не успели. По доносу одного бдительного студента общество было разгромлено, а «братчики» отправлены

в ссылку кто куда: зачинщик Костомаров после года заключения в Петропавловке — в Саратов, Кулиш — в Тулу, Шевченко — рекрутом в Оренбургский край, Опанас Маркович — в Орел. Здесь его как человека, за которым нужно приглядывать, назначили служить в канцелярию губернатора<sup>46</sup>.

С длинными казацкими усами, круглолицый, плотный, вольнодумец по судьбе и образу мыслей, Афанасий Васильевич пленил юношу смелостью суждений, «еретическими» соображениями, наверняка обсуждал с ним романы и критику в свежих журнальных книжках и, конечно, плавил сердце украинскими песнями. Едва закручинится Николай, едва подумает горько, сколько ж ему еще чахнуть над бумагами писарем, пан Опанас поглядит лукаво и заведет густым басом: *Дивлюсь я на небо та й думку гадаю, / Чому я не сокил, чому не летаю...* И сразу веселей на душе.

Песен в памяти Афанасия Васильевича хранилось несметное количество; он их собирал, изучал и незаметно вслед за тезкой Лескова, воспевшим Диканьку, влюблял его в Малороссию. Пан Опанас и сам с удовольствием пел — и под гитару, и так, и один, и с другими. Громче всех подпевал ему Павел Иванович Якушкин, тоже собиратель песен, только русских.

Чудаковатый, вечно нестриженный и нечесаный, сын дворянина и крепостной, Якушкин носил мужицкое платье — плисовые шаровары, рубаху — и очки. Еще в гимназическую пору язвительный Функендорф прозвал его «мужицким чучелком»: с юных лет Павлуша не желал стричься, ходил патлатым. С него был отчасти списан Овцебык, герой одноименного рассказа Лескова. Якушкин появился и в «Смехе и горе», и в «Загадочном человеке», и, конечно, в посвященных ему «Товарищеских воспоминаниях», сочиненных для сборника его памяти. В них Лесков сообщил об орловском «чучелке», пьянчужке и антике всё самое смешное и забавное, смолчав о главном — о том, что Павел Иванович был одним из первых профессиональных собирателей фольклора, подвижником, положившим жизнь на записывание народной поэзии. Возможно, Лескову не хотелось повторять общеизвестное, о чем и так «все напишут»; не исключено, что он ревновал. Приятнее было изобразить земляка и старшего товарища героем анекдотов и «божьем человечком», каковым Якушкин тоже, несомненно, являлся, а гонимым лите-

ратором со сложной судьбой в том же очерке представить самого себя.

Но тех, кто ценил Якушкина именно за знание народных песен, было немало. Специально, чтобы пообщаться с ним, в Орел приезжал другой собиратель песен Петр Васильевич Киреевский, благо ехать было близко — Слободка, имение Киреевских, располагалось в семи верстах от города. Якушкин работал вдохновенно и без усталости, терпел холод, нужду, болезни, проходил десятки верст от деревни к деревне, но на регулярные усилия был не слишком способен. Записанные им песни аккуратный Киреевский приводил в порядок и кое-что публиковал — разумеется, с согласия самого собирателя.

Всё это шумное собрание знатоков народной песни, не последних людей не только в губернском Орле — во всей русской литературе, вскоре украсилось юной Марией Александровной Вилинской.

Четырнадцатилетняя Мария приехала под опеку к богатой тетке Екатерине Петровне Мардовиной, в доме которой собиралось лучшее орловское общество. Маркович тоже был здесь принят, облакан и незаметно очарован Марией Александровной. Темно-русые косы, прямой глубокий, несколько тяжелый, но притягательный взгляд, жадность к новому — она впитывала всё, что он говорил, и чутко откликалась: вопросы ее были остры, суждения неожиданны и обнаруживали в неулыбчивой девушке ум, страсть, энергию, твердую волю — одаренность. Афанасий Васильевич оказался в ряду многочисленных поклонников Марии, а через несколько лет попросил ее руки.

Обвенчались они в домашней церкви Киреевского. Маркович был влюблен, околдован, Мария Александровна годы спустя скажет, что вышла замуж в шестнадцать лет без любви, стремясь к независимости. Муж не только подарил ей, бесприданнице, независимость — он открыл ей, что народный украинский быт может стать источником творчества. Образование Мария получила в елецком пансионе — с обучением танцам, французскому, игре на фортепьяно. Хотя, по преданию, деда ее были с Киевщины и украинскую речь она впервые услышала в детстве, именно после знакомства с Афанасием Васильевичем она начала собирать украинские пословицы, песни, слова для словаря живого украинского языка и разглядела, сколько солнца и озорства в малороссийской теме. Первые рассказы Марии Александровны из малороссийского народного



быта и на малороссийском наречии «Народні оповідання» (1857, 1862) были опубликованы под псевдонимом Марко Вовчок, крепким и круглым, как репа — с кивком то ли на фамилию вдохновителя, то ли на казака Марка, мифического родоначальника Вилинских. Но это произошло годы спустя. Пока же Мария Александровна была почти девочкой, начитанной, умной, привлекательной, а Афанасий Васильевич — молодым человеком с ореолом изгнанника. У Марии была чудная память, она запоминала и мелодию, и слова со слуха — и вскоре уже подпевала Марковичу.

Пели они всегда об иной, лучшей жизни — не в душном Орле, а на червонной Украине, под тенью черешен, в зелени тополей, на вольном берегу Днепра, где дышится легче, живется веселей.

Мог ли Лесков поверить, что однажды Сергей Петрович Алферьев, строгий, капризный, многого добившийся киевский дядюшка, пригласит его к себе (видимо, мать умолила брата), позовет в Киев отведать иного житья — его, неудачника, бунтаря, жалкого письмоводителя в присутствии?

Через полтора года переписывания дел, в сентябре 1848-го, Николай получил назначение на должность помощника столоначальника Орловской уголовной палаты, что, учитывая его юные годы, было карьерной удачей, началом возможного восхождения. Но ему не нужно было продолжать. Ему хотелось бежать.

Орел щемил недавним жизненным проигрышем, давил недоумением родных. И, став уже известным писателем, от своей «малой родины» Лесков отрекся. «Меня в литературе считают “орловцем”, но в Орле я только родился и провел мои детские годы, а затем в 1849 году переехал в Киев»<sup>47</sup>, — писал он, как обычно, несколько искажая факты: он провел в Орле не только детские годы и покинул его, по тогдашним меркам, отнюдь не ребенком — восемнадцатилетним юношей с жизненным опытом за плечами.

Дорога тянулась через зеленый бор. По всем приметам приближались к Киеву. Паломников, бредущих вдоль дороги к киевским мощам, становилось всё больше. Плотневший на глазах светло-серый поток, сбрызнутый то здесь, то там цветными бабьими платками, кой-где и девичьим венком, тек безмолвно, погруженный в созерцание, наполняя и лес, и дорогу, и повозки с пассажирами тишиной, предчувствием встречи.

Внезапно всё зашевелилось, точно очнулось от полусна, обернулось на запад. Над серой грядой тумана расцвел золотой город.

Сияющие купола церквей, блеск крестов, пестрядь городских построек парили в воздухе, взмыв над юной зеленью деревьев. Еще выше, над церквями, домами, лесом сияла лазурь.

Ступенью в небо был этот город.

Купец и приказчик начали размашисто креститься, самые ревностные паломники пали прямо в дорожную пыль — несколько мгновений спустя ничего уже было не видно. Город поманил и скрылся. Спряталось и солнце — не было ему больше дела, нечего стало освещать.

Спустя два часа город появился снова, теперь уже совсем рядом. Справа возвышались Киево-Печерский и Михайловский монастыри, Святая София, церковь Андрея Первозванного — купец щедро делился с Николаем, где здесь что; чуть выше зеленел Подол. Воздух похолодел, отсырел. Прямо перед ними Днепр катил серые волны, слегка подбрасывая длинные суда.

Пока пересаживались, перекладывались на шаткий днепровский паром, нагнало тучи, сделалось пасмурно. Вскоре Николай уже торопливо застегивал пуговицы новенького сюртука (утром нарочно переоделся — ветер был свеж). Стоявшие рядом паломницы с круглыми недоуменными лицами вздрагивали от любого толчка, крестились и бормотали молитвы. Чуть поодаль сидел на узкой скамье ветхий седобородый старец. Устремив взгляд к пещерам, он тоже молился вслух, читал дрожащим голосом из Иоанна Дамаскина: *Житейское море, воздвигаемое зря напастей бурю, к тихому пристанищу Твоему притек, вопию Ти...*

И всё это вместе — златоверхие храмы, слепенькие хатки впереди, величавая река с островами, смиренный старец с серебряной бородой, которой играл ветер, слова молитвы и всё ближе подступавшие зеленые берега — наполнило сердце таким волнением, таким предчувствием счастья, что Николай тоже начал молиться — о будущем, деятельном и умном, о том, чтобы не было впереди ни унижений, ни вопля, ибо прежнее прошло.

Так и случилось: *чудный, странный, невероятный* город подарил ему немало минут чистого восторга, беспримесного счастья. Потом, уже став профессиональным сочините-

лем, о любимой Украине Лесков писал с обожанием, щедро бросая на холст самые яркие краски. В рассказах о гостомельских временах, об Орле поэзия неизменно мешалась с тоской, вздохом о духе рабства, вечном насилии барина над крестьянином, мужа над женой, матерью над дитятей. Там печалилась и болела русская жизнь, здесь — подбоченясь, сверкала улыбкой малороссийская. Бренчала в блеске чистого летнего вечера бандура, не утихая лились песни, разряженные хлопцы и дивчины отплясывали гопака, в рот валились галушки.

Наконец-то Николай оказался на солнечной стороне.

---

---

Глава вторая

## КИЕВСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

*Гоголь всё мурлыкал песенки,  
вертелся, подсвистывал на коней,  
сгонял прутиком оводов и в шутили-  
вом тоне заговаривал с ямщиком.  
Но ямщик на эту пору попался им  
самый несловоохотливый, и как  
Гоголь его ни заводил на разговоры,  
наконец должен был от бесед с ним  
отказаться.*

Н. С. Лесков. Путимец

### Лестница в небо

Киев отогрел. Польшнул куполами, окатил мягким жаром южного края, раздвинул зрение ширью просторного университетского города.

Киевские островерхие тополя по сравнению с орловскими липками показались Николаю великанами. Толпа, заполнявшая вечерами улицы, словно вечно праздновала что-то, нарядная, говорливая. И так же пестро, непривычно она звучала: малороссийский напев мешался с польским пришепетом, русский говор с еврейской картавостью. По вечерам то и дело из раскрытой рамы, из палисадника выпархивала песня. Из трактиров неслись крики шумно гулявших буршей — так здесь звали студентов-старшекурсников. Кареглазые дивчины глядели украдкой, но держались намного свободнее великоросских.

И пахло здесь иначе — акации росли прямо у стен дядюшкиного дома и наглухо закрывали окна. Едва Николай приехал, почки как по команде выстрелили белыми цветками. Сладкий дурман проникал по вечерам в комнату, Лесков засыпал под него. Но и снаружи дышалось по-другому: ароматы цветущих вишен, персиков, каштанов составляли странную вкусную смесь, здешний «воздухец» можно было глотать и «кушать» (этот съедобный воздух он вставит потом в одну свою повесть).

Всюду, в любых гостях киевляне угощали борщом, наливкой, домашним вареньем, которое считали особенным,

и обязательно хвастались рецептом — «поди не орловское», «не то что у москалей»!

Впрочем, первые недели Николаю было не до визитов — он буквально бегал по городу: с Малой Житомирской, где жил, мчался вверх, к Софии. Ликовал от покойной мощи византийской архитектуры, удивленно впитывал тихий свет человеческого достоинства, льющийся от ликов на фресках прозрачной волной, не слушая, что там объясняет бывалый хохол паломникам, разинувшим рты. Глядел на цветные мозаики в куполе, подпевал стройным литургийным песнопениям, твердил, как в полусне, забыв себя: *не вемы, на небеси ли есмь были или на земли*. Приложившись к кресту и иконам, выбирался из храмовой прохлады в уже отогретый солнцем город, шел гулять.

С паперти церкви Андрея Первозванного открывался вид на Подол с узенькими переулками, грязными площадями, низенькими домами и неутихающим движением.

Подол был гоголевский, и ничто, казалось, не изменилось здесь со времен богослова Халявы и философа Хомя Брута. Так же на Контрактовой площади у резервуара с водой стояла выкрашенная яркой масляной краской деревянная статуя голого человека, разжимающего пасть дикому зверю размером с собаку — это Самсон побеждал льва. Как и прежде, толпились возле старинного фонтана хохлы в смушковых шапках и с длинными усами, насупленно дивясь подвигу библейского богатыря. Сновали с тетрадками под мышкой бурсаки — Киевская духовная академия так и располагалась при Братском Богоявленском монастыре. Шумел неподалеку от монастыря рынок, распространяя манящие ароматы. Громко зазывали прохожих торговки, чуть не в лицо тыкая свежие бублики, булки и маковники.

Под благовест лаврской колокольни Николай шагал на Андреевский спуск, по набережной, разглядывал суда, скользившие по Днепру, шел сквозь царский сад к Печерской лавре.

Не сразу он добрался сюда. Всё не складывалось, всё как-то не получалось. Наконец сподобился. Истории из Киево-Печерского патерика мать читала ему на ночь, и чуть не всех подвижников он помнил по именам. Прохор Лебедник, умевший хлеб из лебеды делать сладким; силач Моисей Гробокопатель; иконописец Алипий; Моисей Угрин, облегчающий плотскую страсть. Все — богатыри, чудотворцы, наивные и святые, как большие дети. Давно они были ему родные, свои. Но, сойдя в пещеры, Николай оторопел.

Как потерянный бродил он в полумраке, не разгоняемом дрожашими огоньками лампад, прикладывался к мощам и старался не глядеть подолгу в строгие лики: стыдно, как в детстве — до жара, до слез. Не без облегчения вернулся на свет божий и, ободрясь, зашагал навстречу снисходившим к слабостям человеческим деревянным домикам Печерска.

Разгул здесь был совсем не орловский — горячий, ласковый.

Чистенькие окошки с горшками красного перца и бальзамина под кружевом зашпиленных занавесок глядели кротко, но весело. На крышах грелись голуби, во дворе хлопотали куры, гоготали гуси. Местные куртизанки принимали гостей «по-фамильному», с домашней простотой и казачьим хлебосольством. Гости приносили угощение — горилку, колбасу, сало, рыбицу, девушки в ответ готовили пир, который продолжался до рассвета, строго до второго звона в Лавре. Едва колокол ударял второй раз, казачка крестилась, громко произносила: *Радуйся, Благодатная, Господь с тобою*, — бестрепетно выгоняла гостей и гасила огни. На местном наречии это называлось «досидеть до Благодатной»<sup>48</sup>.

И всё было можно, и всё хорошо, а что не благословлено, то прощено всемилостивым Господом. Мир повернулся наконец к Николаю лицом, сотней лиц, одно другого краше. Все смотрели на него, и все ему улыбались: удалая дивчина с ямочками на щеках; сухопарый легонький богомаз из Печерского монастыря, взобравшийся под самый купол храма; усердный старовер из «шияновских нужников»; университетский профессор с ироничным взором сквозь пенсне; нахохленный, голодный студент — бесстрашный забияка кабацких побоищ; исхудалый паломник с черными страшными ногтями на руках, прошедший по обету три сотни верст пешком...

Жизнь, как шар круглого афонского светильника, сверкала огнями, жизнь была *вертоград многоцветный*, населенный разными людьми — поэтами, учеными, чудаками, и каждый был такой славный, умный, добрый. Точно в молочной реке он купался в тот первый свой киевский год. Всё было важно, везде интересно. Он кидался то в храмы, то в кабаки, то в университетские аудитории — слушать лекции, то в городской сад — вести беседы о смысле существования земного. Времени и сил доставало на всё.

В Орле жило несколько любимых семей — в Киеве очень много очень разных людей. У них он вольно или невольно учился.

Первым в списке — не обойдешь — значился дядюшка.

Сергей Петрович Алферьев (1816—1884) — ординарный профессор киевского Императорского университета Святого Владимира, декан медицинского факультета — цену себе знал. Спуску не давал ни студентам, ни пациентам. Тем не менее на прием к нему (он был и практикующий доктор) неизменно сидела длинная очередь — и трепетала. Известно было: чуть что профессору придется не по нраву, закричит, затопает, только держись! Ему всё прощали, он был один из лучших терапевтов Киева. Но анекдоты об Алферьеве ходили самые уморительные. Вот какая история случилась с широко известным в Киеве фабрикантом Н. К. Кобцом.

Как-то раз старик Кобец, владелец крупного кожевенного завода, занемог. Испытаны были все домашние средства: травяные отвары, грелки — без толку. Сыновья посоветовали ему пойти на прием к профессору Алферьеву.

Но Кобец кое-что слышал о знаменитом враче.

— Говорят, он грозен. А я робок, не люблю, когда на меня кричат.

— Да не всегда же он кричит. Только под горячую руку. А и покричит, что за беда? Была бы польза...

— Нет, я боюсь, когда на меня кричат.

— Да ведь он гневается, когда пациент мямля, слишком долго раздевается. Вы вот что, папенька, сделайте: расстегните пуговицы на сюртуке и на жилетке заранее. Как войдете в кабинет — пиджак уж и сброшен. Пациент к осмотру готов. Он и не станет кричать.

Старый Кобец всё это выслушал и отправился на прием. Начал профессор принимать, сидит Кобец в очереди ни жив ни мертв. Из кабинета то и дело раздаются грозные крики.

Сердце у Кобца замирает. Снял он шляпу, расстегнул одну за одной все пуговицы на сюртуке, потом и на жилете — готовится войти в кабинет.

Вот и его очередь!

Не успел профессор произнести его имя, как старик сбросил сюртук и очутился перед доктором в одной нижней рубахе.

— Этта еще что? — закричал профессор. — Вы этта... что себе позволяете?

Кобец застыл.

— Или вы в баню пришли?

Старик начал пятиться — профессор за ним.

— В бане вы или в кабинете доктора?!

Перепуганный Кобец к дверям и как был — без шляпы, с сюртуком в руке — перебежал улицу, бросился к извозчику: «Гони!»

Приехал домой, едва успокоился. Нет уж, говорит, больше меня к нему и калачом не заманишь. А болезнь? Она так напугалась доктора Алферьева, что отступила.

Таков был Сергей Петрович — «надменнейший», как назвал его один из мемуаристов. Однако дело свое он знал превосходно, всего добился сам, причем, как свидетельствует Лесков, без интриганства<sup>49</sup>. Алферьев блестяще учился, окончил Санкт-Петербургскую, а затем Московскую медико-хирургические академии (вторую — с серебряной медалью), был на два года отправлен за казенный счет в Берлин «для усовершенствования во врачебных науках», а вернувшись, стал ординарным профессором — сначала в Московской медико-хирургической академии, затем в Киевском университете Святого Владимира.

Блеск его свершений становится особенно очевиден при взгляде на его родителей — деда и бабушку Николая Лескова. Если Петр Сергеевич Алферьев, человек достаточно образованный, до катастрофы 1812 года служил в Московском департаменте Сената, а потом умело справлялся с обширным имением сурового Страхова, то его супруга Акилина Васильевна, из купеческого рода Колобовых, была полуграмотная. Главная радость ее состояла в паломничествах.

Светлая, религиозная старушка, конечно, воспринималась сыном не без высокомерия, ее писульки он не хранил, упаси боже увидят. Уцелела только одна, от 30 января 1855 года. Сергей Петрович к тому времени давно жил в Киеве, и, судя по письму матери, поздравить ее с Рождеством профессору было недосуг. «Краня удивляед меня друг мой милой Сергей Петрович твое молчание, — пишет не ведавшая о знаках препинания и правилах орфографии Акилина Васильевна, — ... (нрзб.) и придумать что это значид ведь последнему письму твоему от 20 сентября прошло уже 4 месяца». Излив на бумагу свои упреки, она признаётся: «...и самая жись моя становится тягость одно воображение что идинствино сын мой и вся моя надежда ставил меня даже и не пишед и о себе»<sup>50</sup>.



К киевской поре родители и полунищая юность давно остались в прошлом, немного стыдном, но можно было зажмуриться — вот и нет его, словно и не было никогда. В настоящем Сергея Петровича знал весь город, его чтили, ценили и, к счастью для его непутевого племянника, навещали университетские коллеги. С самыми молодыми из них Николай подружился. Это были Игнатий Федорович Якубовский, блестящий лектор, просветитель, специалист по сельскому хозяйству и лесоводству, учившийся в Петербурге и Штутгарте, правоведа Иван Мартынович Вигура и Савва Осипович Богородский, адъюнкт-профессор по кафедре энциклопедии законовещения Николай Иванович Пилянкевич.

В теплое время вечерами молодые люди собирались в городском саду, слушали Якубовского и Пилянкевича, говоривших умно, вдохновенно и так искренне! О познании и мировом духе по Гегелю, о прекрасном и возвышенном по Канту, о единстве природы по Шеллингу. Лекции перерастали в общий разговор, в бурный спор — про будущность человечества и России, про Бога и правду, про эмпиризм и мировую душу, про стихотворения Фета и нового поэта Тютчева, недавно воспетого в главном столичном журнале. Липы благоухали, цикады катили по щебню невидимые тележки. Философия, науки, искусства, стрекот и ароматы — всё смешивалось, всё было связано, всё одно. Сердца горели, юношеские голоса сбивались на фальцет, а ночь летела — тихо, плавно. Вдруг раздавался клетот первой утренней птицы, воздух светлел, и все расходились, веселые, трезвые, со сладкой усталостью на душе.

Николай возвращался домой по пустым улицам пешком, улыбаясь себе и небу, — после этих бесед звезды словно спускались ниже. Перехватив часок-другой сна, он просыпался бодрым, свежим и отправлялся на службу.

Но не только Аполлону приносились в жертву чудные киевские ночи. С приятелями помоложе Николай служил совсем другому божееству — кудрявому Бахусу в пурпурном плаще и венке набекрень.

Пили в Киеве много: на квартирах, в «пивнице» на Крещатике, в цукерне пана Розмитальского, в трактирах Бурхарта и Круга, у Каткова на Подоле, в стенном погребке Братского монастыря, а когда хотели «засточертить», шли к Днепру, плыли на дубовых лодках в слободку на Труханов остров — в знаменитый трактир Рязанова. А уж там...

Старая добрая горилка.

После нее, особенно в студеные дни, хорошо *заходила* сладко дымящаяся варенуха: мед, травы, сушеные груши, вишни, сливы, гвоздика с корицей — бросай, что пожелаешь, что только найдется, в чугунок со спиртом, ставь его скорей в печь!

А пока прееет варенуха, испытай наливочку, да не одну. Вишневка, сливянка, персиковка — все с давленными косточками; тертуха на землянике, спотыкач на черной смородине. Хлебни чарку, другую, пятую — вот тебе и рай Богометов<sup>51</sup>, лучше всё равно ничего не сыщешь даже в Малороссии.

«Этими-то вкусными и относительно дешевыми наливками прибывавшие из Киева студенческие банды упивались у Рязанова до зела, пока иные не начинали ползать аки скоты польские или гады, пресмыкающиеся по земле. Потом, очнувшись как-нибудь, поздним вечером, а еще чаще совсем ночью, банды эти с песнями переплывали назад на тех же дубах в Киев и приставали всегда у Рождественской церкви, на Подоле, так как тут по обоим взвозам, — Александровскому и особенно Андреевскому, тогда было множество веселых приутов, где подкутившие студенты могли еще вволю покуражиться и пошуметь, и иногда кончали свой разгул большими безобразиями»<sup>52</sup>.

Тогда, в конце 1840-х годов, в Киевском университете действовало четыре главных кружка. В первый входили создатели местного живого эпоса — ратоборцы и забияки, «подвиги которых далеко разносились в сказаниях по хуторам и весям» и «забавно живописались в беседах хуторных “панянок” и вообще “панского” общества». Второй был кружок пиитический, лучшим творением его почиталась эротическая поэма «Павлиниада» уроженца Черниговщины некоего Рудольфа, написанная задорно, бойко, снискавшая популярность, выходящую далеко за пределы университета и даже города. Еще действовали кружки серьезные — позитивистов и патриотов, собиравших малороссийские песни и сказки<sup>53</sup>.

Рядом с университетским жил — пусть не так буйно, но тоже заметно и звучно — артистический Киев.

В начала 1850-х годов здесь развлекали публику сразу несколько частных театров; в них играли русские труппы, но чаще и с большим успехом польские. В Киев приезжали с концертами и итальянские знаменитости, особенно активно во время *Контрактов* — своего рода торговой биржи,

когда в город собирался торговый люд со всей губернии. Однако любили киевляне и долгие домашние вечера, проводя их за зелеными ломберными столами, вытеснявшими даже танцы.

Читали не очень много. Тем не менее книжных лавок в городе было пять.

В «Печерских антиках» Лесков с улыбкой вспоминает поэта и отставного капитана Павла Петровича Должикова, открывшего при своем магазине «Аптеку для души», она же «Кабинет муз» и «Кабинет для чтения новостей российской словесности». В «Аптеке для души» можно было почитать свежие газеты и литературные журналы — Павел Петрович их исправно выписывал, а вот новых книг почти не покупал.

За литературными новинками ходили на Крещатик, к Степану Ивановичу Литову, державшему лучший в Киеве книжный магазин. У Степана Ивановича можно было найти и Пушкина, и Гоголя, и Тургенева, самые свежие издания, учебники, карты, справочники; он лично ездил заказывать книги в Москву, Петербург и Львов. Но и о доходах не забывал, за что и удостоился сомнительной чести быть помянутым в самой первой заметке Лескова — о Евангелии на русском языке, которое продавалось у Литова слишком дорого.

Книгами в Киеве торговали, петербургские и московские газеты читали, но литературная жизнь в начале 1850-х была скудная, отчасти комическая, полная самых диковинных экземпляров.

Страннолепный богатырь Виктор Ипатьевич Аскоченский был из них первый. Бурный, безвкусный, но даровитый, из бывших семинаристов — говорили, что он выглядит, как «переодетый архиерей». Поповичей Лесков отличал сразу — по повадке, осанке, словечкам — и почти против воли испытывал к ним родственные чувства. Родных ведь не обязательно любишь, но куда денешься — своя кровь. Аскоченский, сын священника, действительно отучился не только в семинарии, но и в Киевской духовной академии, был статен, недурен собой, из него и в самом деле наверняка получился бы славный владыка. Но в духовные он не пошел, служил воспитателем детей киевского военного губернатора Дмитрия Гавриловича Бибикова, одевался броско и смешно — носил шляпу и панталоны не в цвет; всем дерзил, сыпал грубоватыми остротами, сочинял то едкие, то лирические стихи, а вместе с тем написал серьезный обличительный труд о недостатках русского университет-

ского образования. Девушки с Подола от Виктора Ипатьевича были без ума. Про легендарную силу его рассказывали анекдоты; говорили, что господина Аскоченского в гости звать даже опасно: без погнутой ложки он хозяев не оставлял, а входя в раж, гнул и подсвечники.

Во времена его академической юности, когда инспектор отобрал у студентов чубуки и отнес их отцу ректору, Аскоченский дерзко явился за своей собственностью. Ректор, естественно, указал ему на дверь. Тогда взбешенный студент схватил лежавшие на столе трубки и в одно движение все их переломил на колене<sup>54</sup>. С годами молодцеватость и дерзость, свободомыслие и критический настрой по отношению к системе духовного образования и особенно монашеству ушли в желчь, злые басни, яростные сражения с нигилистами, «прогрессистами» и «поджигателями» (например, в знаменитом романе «Асмодей нашего времени»). Остервенелость нападок не охлаждали и имевшиеся среди его сочинений «тихие песни» в стихах и прозе, прославлявшие людей незаметных, косноязычных, малогласных, но праведников — не видные миру светильники под спудом<sup>55</sup>. Аскоченский их жадно искал, как потом и Лесков.

Их внутреннее сходство первыми уловили литературные враги Лескова и советовали ему «почаще целоваться и пить на брудершафт с Аскоченским»<sup>56</sup>. Но Аскоченскому отмерено было заметно меньше таланта художественного, больше критического, публицистического и научного; недаром проза, пьесы и стихи его были забыты, а репутация нелепого обличителя «гнилого Запада» (его слова), издателя никем не читаемой «Домашней беседы» сохранилась. О том, что Аскоченский еще и автор фундаментального труда по истории Киевской духовной академии<sup>57</sup>, также предпочитали не вспоминать — шуту не пристало быть историком.

Лесков в ранней своей публицистике также не упускал случая пнуть Аскоченского — за ограниченность взглядов и занудство. В одной из заметок он издевательски рассуждает о волшебной власти имени Аскоченского: «...стоит в первых строках самой скучной статьи найти случай упомянуть имя г. Аскоченского и напечатать его курсивом», как читатель непременно дочитает статью до конца — в ожидании «забавного казуса»<sup>58</sup>.

Лесков не желал видеть, что Аскоченский словно бы из любимых его героев — житейски неустроенный антик и

чудодей, к тому же несчастливый. Невзгоды не оставляли Виктора Ипатьевича: он похоронил двух жен, а последние два года жизни провел в психиатрической больнице из-за воспаления мозга.

К киевским литературным диковинкам, хотя и меньшего калибра, относилась и девица Елизавета Сентимер. Ее переполняли стихи, и она выпускала сборник за сборником. Один из них назывался «Чувства патриотки»; книгопродавец и балагур Павел Петрович Должиков предлагал посетителям: «Вместо сыру и водки — вот “Чувства патриотки”»<sup>59</sup>.

Трогательной, но совершенно безответной страстью к литературе был томим и Альфред фон Юнг — сочинитель водевилей, куплетов, песен и подробного руководства по варке варенья. Юнгу, кажется, просто нравился вид напечатанного текста, поэтому издавал он всё, что возможно. Именно он начал выпускать первую в Киеве газету «Телеграф». В «Печерских антиках» Лесков рассказал о Юнге и его газете несколько анекдотов.

«По правде сказать, “Телеграф” юнговского издания представлял собою немало смешного, но всё-таки он есть дедушка киевских газет. Денег у Юнга на издание долго не было, и, чтобы начать газету, он прежде пошел (во время Крымской войны) “командовать волами”, то есть погонщиком. Тут он сделал какие-то сбережения и потом всё это самоотверженно поверг и сожог на алтаре литературы. Это был настоящий литературный маньяк, которого не могло остановить ничто, он всё издавал, пока совсем не на что стало издавать. Литературная неспособность его была образцовая, но, кроме того, его и преследовала какая-то злая судьба. Так, например, с “Телеграфом” на первых порах случались такие анекдоты, которым, пожалуй, трудно и поверить: например, газету эту цензор Лазов считал полезным запретить “за невозможные опечатки”. Поправки же Юнгу иногда стоили дороже самых ошибок: раз, например, у него появилась поправка, в которой значилось дословно следующее: “во вчерашнем №, на столбце таком-то, у нас напечатано: пуговица, читай: богородица”. Юнг был в ужасе больше от того, что цензор ему выговаривал: “зачем-де поправлялся!”

— Как же не поправиться? — вопрошал Юнг, и в самом деле надо было поправиться.

Но едва это сошло с рук, как Юнг опять ходил по городу в еще большем горе: он останавливал знакомых и, вынимая из жилетного кармана маленькую бумажку, говорил:

— Посмотрите, пожалуйста, — хорош цензор! Что он со мною делает! — он мне не разрешает поправить вчерашнюю ошибку.

Поправка гласила следующее: “Вчера у нас напечатано: киевляне преимущественно все онанисты, — читай оптимисты”»<sup>60</sup>.

В те годы проживал в Киеве и «старик Подолинский». Хотя на деле Андрей Иванович Подолинский, рожденный в 1806 году, стариком в конце 1840-х не был, но литературная слава его лучших поэм «Смерть поэта» и «Нищий» давно отшумела, а новых он пока не сочинил.

Всех их Лесков вспоминал потом умиленно и слегка покровительственно. Но в ту же пору появился у него и знакомый, на которого он смотрел снизу вверх и всю жизнь называл своим учителем, повторяя, что тот помог ему в юности понять: «добродетель существует не в одних отвлечениях»<sup>61</sup>.

Дмитрий Петрович Журавский (1810—1856) — хворый, желтый, с длинными зачесанными за уши волосами, — не имел дара нравиться, быть приятным, а умение вовремя улыбнуться, поддакнуть почитал за лицемерие. Он общался холодно, почти принужденно, без снисхождения к себе-седнику; разглядеть его внутреннее благородство, жертвенность и доброту не всем было под силу.

Журавский написал трехтомный труд «Статистика Киевской губернии» (1852) о природе, населении, сельском хозяйстве и промышленности региона, своротив эту махину в одиночестве. Но не в том заключалась его сила: все чаяния, все помыслы, все проекты Журавского были сосредоточены на участи крепостных. Управляющий пензенскими имениями Льва Александровича Нарышкина, он хорошо знал, как живут крестьяне, и составил проект их постепенного освобождения: предлагал уменьшить оброк, прощать недоимки, снабдить новыми сельскохозяйственными орудиями и, главное, приравнять труд крепостного к военной службе и после двадцати лет работы отпускать крестьян на волю.

Дмитрий Петрович любил повторять, что обвинять крестьян в лени, беспечности, невежестве нелепо — это пороки, общие для всего рода человеческого, распространенные и среди образованного класса: «Поистине я нахожу их еще слишком честными, слишком добрыми, когда подумаю об их положении»<sup>62</sup>. Журавский был убежден: если и самых опустившихся, бедных, безлошадных, бездомных снабдить

избами, лошадьми, коровами, овцами, они станут трудолюбивыми — он убеждался в этом на собственном опыте. Помещикам он предлагал перейти на «саксонский плужок и железную борону», снизить оброчный оклад и цену за аренду земель, выкупать крестьян на свои деньги. Сам он, человек небогатый, сумел выкупить десять семейств.

Журавского не слышали, не слушали, а как только появился высочайший манифест об освобождении крестьян, идеи его безнадежно устарели. Сам Дмитрий Петрович до Крестьянской реформы не дожил, умерев в 1856 году, но всё-таки не был забыт, в том числе благодаря Лескову, выходя то из одной, то из другой створки его рассказов и повестей\*. Правда, опубликовать доставшиеся ему письма Журавского, посвященные преобразованиям, Лесков, несмотря на старания, не смог.

Таков был Киев домашний, литературный, университетский, дружеский. И всё же основное время Лесков проводил не в ученых беседах с Журавским, не в трактире Рязанова и печерских домиках. Вскоре по прибытии к дяде он начал служить.

### Столоначальник Лесков

Официально Николай был определен в Казенную палату помощником столоначальника по рекрутскому столу ревизского отделения 24 февраля 1850 года. Но, похоже, в Киев он попал несколько позже: в Государственном архиве Орловской области обнаружился документ, подписанный Лесковым 11 апреля того же года в Уголовной палате Орла, где, очевидно, он в апреле и находился<sup>63</sup>. Как такое могло случиться? Возможно, по просьбе влиятельного и всем необходимого доктора Алферьева для его племянника просто держали место в Киевской казенной палате, пока тот завершал свои дела в Орле. В сентябре 1849 года он уже приезжал в Киев на два месяца — очевидно, «на разведки», взяв в Орле отпуск. А может быть, дело было в чем-то ином.

Переехав в Киев окончательно, Лесков вновь сел за писарский стол. Он оформлял молодых людей для отправки в армию.

---

\* «Русские общественные заметки» (1869), «Смех и горе» (1870), «Из глухой поры: Переписка Дмитрия Петровича Журавского и два письма Льва Александровича Нарышкина. 1843—1847» (1870—1871), «Захудалый род» (1874), «Фигура» (1889), «Загон» (1893).

Первые годы службы Лескова в Киеве пришлось на бибииковские времена. Киевский военный губернатор Дмитрий Гаврилович Бибииков был любимцем императора Николая I: в прошлом боевой офицер, потерявший левую руку в Бородинском сражении. Это не мешало ему ни прижимать к сердцу прекрасных дам, до которых он был большой охотник, ни управлять многонациональным краем, с военной жестокостью уничтожая в нем польское влияние и гетманское свободомыслие. «Хотя у меня одна рука, но я в ней держу три миллиона человек, а вас-то и подавно удержать сумею. Можете водиться с девками, можете разбивать бардаки — всё это я скорее прощу вам; но Бог вас сохрани нарушать дисциплину: первый вновь попавшийся в том будет немедленно выгнан из университета»<sup>64</sup>, — внушал Дмитрий Гаврилович студентам Киевского университета, собрав их после очередной шалости.

Прослужив в должности киевского военного губернатора и подольского и волынского генерал-губернатора 15 лет (1837—1852), Бибииков успел сделать для города немало доброго. Участник ключевых для России событий, он ценил историческое знание; по его инициативе в Киеве открылся Центральный архив, были созданы временная комиссия для разбора древних актов и постоянная комиссия для описания юго-западных губерний.

Как водится, губернатор любил строить: в его правление заложили знаменитый Цепной мост — первый постоянный мост через Днепр в Киеве, воспетый Лесковым и в «Запечатленном ангеле», и в «Печерских антиках»; возвели величественный Институт благородных девиц с колоннадой, изящное женское училище графини Левашовой (оба здания и сейчас стоят в Киеве) и многие другие каменные строения в стиле позднего классицизма. Заработала обсерватория, появился ботанический сад, был создан кадетский корпус. Город стал наряднее и свежее.

Но как раз этого не могли простить ему местные жители и Лесков: губернатор уничтожал городскую старину — не благообразную, зато живописную, живую. В пору бибииковских перемен Печерск, который Лесков успел застать прежним, на глазах лишался патриархального и запорожского духа: ветхие, кое-как натыканные домики сносили, их жителей, невзирая на стон и вой, выселяли. Жаль было и хаток, что лепились над днепровской кручей: они, ностальгически отмечал Лесков в повести «Печерские антики», «придавали прекрасному киевскому пейзажу особенный



теплый характер и служили жилищем для большого числа бедняков». «Бибиков, конечно, был человек твердого характера и, может быть, государственного ума, но, я думаю, если бы ему было дано при этом немножко побольше сердца, — это не помешало бы ему войти в историю с более приятным аттестатом», — итожил он<sup>65</sup>. «Капрал Гаврилович Безрукий» — аттестовал киевского губернатора Тарас Шевченко в недописанной поэме «Юродивые». Та же язвительная прохладца сквозит и во множестве анекдотов о Бибикове, выпекавшихся по рецепту, очевидному из историй, приведенных выше: вельможное хамство смешивалось с природным остроумием, а иногда и благородством.

Например, губернатор не прочь был подпустить туалетного юмора, особенно общаясь с поляками. На вопрос польской дамы, напечатаны ли подписи в альбоме с вклеенными акварелями (*esc-ce que c'est drouqué?*), он, не моргнув глазом, ответил: *Non, madame, c'est pissé!*<sup>\*66</sup>

В заметке «Бибиковские “меры”» Лесков напомнил случаи, как один киевский студент за попойки и шалопайство был выпорот прямо на глазах его светлости, а не стерпевший обиды и ударивший учителя гимназист высечен в присутствии других учеников розгами до беспамятства<sup>67</sup>. Но сохранилось немало свидетельств и тех, в чьей судьбе губернатор принял участие, кому помог, поддержал, чью вину простил.

Вот история про холеру. Во время эпидемии 1847 года Бибиков приказал открыть лазарет в знаменитом Контрактном доме — одном из самых красивых зданий города, где не только заключались контракты, но и проводились концерты (в январе того же года здесь играл захавший на гастроли Ференц Лист), а также давались самые большие городские балы. Киевское купечество прислало к военному губернатору делегацию с просьбой отменить распоряжение о лазарете: «Дочери наши танцуют здесь же, а тут холерные...» Тогда Бибиков призвал полицмейстера Голядкина и приказал: Контрактный дом очистить, все кровати с большими разместить в домах этих господ! Немая сцена. «Больше ничего не добавите, господа? — уточнил Бибиков. Молчание. — Тогда я добавлю, вы — не киевские купцы, а киевские суки, а вы не киевская городская голова, а киев-

---

\* Соль анекдота в том, что дама, не зная, как будет по-французски «печатать», использовала на французский манер польский глагол *druśować*, а Бибиков в ответ употребил французский глагол, созвучный русскому «писать», но переводящийся как «мочиться».

ская городская жопа»<sup>68</sup>. Холерные были спасены, купцы и полицмейстер получили урок.

Лесков Дмитрия Гавриловича застал, анекдоты о нем запомнил, но зенит его службы пришелся на правление сменившего Бибикова Иллариона Илларионовича Васильчикова. От предшественника Васильчиков отличался мягкостью и добротой. И анекдоты о нем рассказывали совсем другие:

«Как-то раз, в самом начале киевской службы, когда не все еще горожане знали его в лицо, князь Васильчиков встретил на улице гимназиста в мундире нараспашку.

— Почему вы не застегнуты? — нахмурившись, спросил князь, стараясь выглядеть как можно более строгим. — Если встретит вас генерал-губернатор, с вас сурово спросят!

— Да нет, — ответил гимназист, застегиваясь, — наш князь очень добрый и наверняка простит!..»

В сочинениях Лескова Васильчиков тоже оказался в лестной роли. В рассказе «Владычный суд» губернатор принимает прямое участие в деле спасения еврейского мальчика, несправедливо забранного в кантонисты. Вполне вероятно, так всё и было.

Служба Лескова особенно оживлялась во время рекрутского набора, проходившего в мирное время один раз в год. Он должен был записать всех новоприбывших, выписать им обмундирование, деньги, квитанции о зачислении, попутно разобрать поступившие жалобы.

Молодой делопроизводитель взялся за дело рьяно. Вскоре, правда, выяснилось, что, попав из орловского присутствия в киевское, угодил он *из кулька да в рогожку*: лица стертые, как старые пятиалтынные, спертый воздух, вонючий запах папирос и составление бумаг до одури. Годы спустя Лесков вспоминал в рассказе «Владычный суд», во многом автобиографическом:

«Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут[ов] не осматривали) надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разьяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов. Канцелярия, состоя-

щая из командированных к этому времени из разных присутственных мест чиновников, исполняла только то, что составляло механическую работу, то есть ее дело вписать и записать, выдать, всё же требующее какой-нибудь сообразительности и знания законов лежало на одном лице — на делопроизводителе. Поэтому к этой мучительной, трудной и ответственной должности всегда выбирались люди служилые и опытные; А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня — едва лишь начавшего службу и имевшего всего двадцать один год от роду... Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора, по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во всё это время я не жил никакой человеческою жизнью кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна»<sup>69</sup>.

Но не в одной работе без продыха заключались мучения. В 1827 году, вскоре после восшествия на престол, Николай I издал указ о распространении воинской повинности на группы населения, прежде не подлежавшие призыву. Указ прицельно бил по евреям. Он к тому же позволял забирать еврейских, финских, польских, цыганских мальчиков с двенадцати лет в кантонистские школы, где из них готовили унтер-офицеров, военных музыкантов, топографов, аудиторов, писарей.

По закону кантонистов-иноверцев не должны были заставлять менять вероисповедание, но угрозами и побоями их всё равно вынуждали креститься. Учитывая их нежный возраст, сделать это было нетрудно. Так мальчики лишались не только дома, семьи, но и своей религии. Лесков во «Владычном суде» пишет:

«Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. Пользуясь таким взглядом, еврей-сдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и ташили к сдаче... К самой суровости требований закона, ныне — слава Богу и государю — уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрут[ов] почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные; а так как наборы были часты и производились с замечательною строгостью, то разбирать было некогда и неочередные при-

нимались “во избежание недоимки” с условием перемены впоследствии очередными; но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось»<sup>70</sup>.

Новейшие исследования историков об армейских наборах при Николае I, воспоминания современников, обнаруженные нами архивные документы в один голос подтверждают: запись в кантонисты так примерно и проходила<sup>71</sup>.

Зачисление мальчиков действительно сопровождалось множеством злоупотреблений, причем как со стороны военачальников и чиновников, правдами и неправдами заталкивавших иудеев в православие, так и со стороны еврейского кагала, постоянно сдававшего в кантонисты детей вне очереди, в том числе еще не достигших двенадцати лет, чьи родители не могли откупиться. В итоге в кантонисты иногда отправляли десяти-, девяти- и даже восьмилетних мальчиков.

Забирали в рекруты и кантонисты и негодных к службе — инвалидов, чахоточных, умалишенных. Случались и курьезы: мещанин Мельников в 1854 году потребовал взять его старшего сына вместо младшего — «за аморальные поступки»<sup>72</sup>. А кто-то делал свой маленький бизнес: похищал чужих детей, обычно из бедных семей, и продавал в кантонисты\*. Каждый кирпич мрачной казенной комнаты, в ко-

---

\* Сами названия дел за годы службы Лескова (1849—1857), сохранившихся в фонде 442 в Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Киев (ЦГИАК), свидетельствуют о творившемся достаточно красноречиво: дело по представлению Киевского губернского правления о побуждении Херсонского губернского правления и Киевской казенной палаты к доставке сведений по делу о евреях, скрывающихся от исполнения рекрутских повинностей, 6 марта 1848 года — 4 июня 1849 года (Оп. 160. Д. 8); дело о жалобе бердичевского еврейского общества об обременении их чрезмерной рекрутской повинностью 1849 года (Оп. 82. Д. 462); дело по прошению Владимирского еврейского общества в числе 68 человек о прекращении преследования в связи с рекрутским набором евреев, не подлежащих по возрасту рекрутской повинности, 20 июля 1849 года — 7 июня 1854 года (Оп. 160. Д. 474); дело о принятом в рекруты Ковельским рекрутским присутствием еврее Янкелевиче, непригодном к воинской службе, 4 июня 1849 года — 23 июня 1861 года (Оп. 82. Д. 288); дело о производстве следствия о рекруте Э. Зингере, оказавшемся неспособным к военной службе, 1851 года (Оп. 84. Д. 362); дело о принятии в рекруты А. Ройзмана, который впоследствии оказался негодным к военной службе (Оп. 84. Д. 194); дело о нападении евреев м. Белая Церковь на дома уполномоченного еврейского общества Смолянского и рекрутского старосты Дубенского III за набор рекрутов, 1 февраля 1855 года — 4 мая 1856 года (Оп. 32. Д. 67).

торой вершились судьбы, замечает Лесков, «наверно, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах»<sup>73</sup>.

Николай провел в этой казенной комнате несколько лет. Поступив на службу в должности помощника столоначальника, два с половиной года спустя, в октябре 1853-го, он сделался столоначальником. В Центральном государственном историческом архиве Украины, г. Киев (Центральний державний історичний архів України, м. Київ), хранится несколько дел с его личной подписью: «письмоводитель Лесков», «столоначальник коллежский регистратор Лесков», «столоначальник Лесков».

В основном это рутинные, связанные с очередным призывом бумаги, разъясняющие основные, вполне шаблонные шаги, которые следовало произвести рекрутскому присутствию\*. Лишь один из сохранившихся документов, подписанных Лесковым, не такой унылый — это дело о злоупотреблениях Белоцерковского еврейского общества от 3 декабря 1854 года, свидетельство еще одной безуспешной попытки иудейской общины отдать в рекруты неочередных людей «по неосновательным причинам».

В трех из найденных нами дел за подписью Лескова упоминается и он сам, всегда в похожем контексте: ему как столоначальнику отпускают «на заготовление бланков и приобретение писчей бумаги для производства дел по набору сто руб[лей] сереб[ром] под расписку» с обязательством по окончании набора представить Казенной палате подробный отчет о расходовании этой суммы.

Казалось бы, вызывающая зевоту бюрократия, пыльные бумажки, рутина — если бы не даты. Годы службы Лескова в рекрутском присутствии — с 1853-го по 1855-й. Это время Крымской войны. После недолгой патриотической горячки началась череда военных неудач. С юга через Киев, располагавшийся недалеко от театра военных действий, потянулись обозы с ранеными, зачастую лежавшими в возах и арбах на грязной соломе. Вместе с успехами российских войск таяло и всеобщее воодушевление.

---

\* См.: «Дело о распоряжении по XI частному рекрутскому набору. 1854 г., мая 31, февраля 13», «Дело о распоряжении по произведению XII-го частного очередного рекрутского набора. 1854 г., сентября 24», «Дело о принятии к зачету квитанций. 1854 г., ноября 10».

Значит, Лесков не просто принимал к зачету квитанции, закупал писчую бумагу и канцелярские принадлежности — он глядел в лица людей, которых отправляли умирать. Он был частью государственной машины, приносившей богу войны человеческие жертвы, поставлявшей на его пиры пушечное мясо.

От дядюшки Сергея Петровича Лесков знал, как дурно обстоят на войне дела с лазаретами, от родственников — как процветают «крымские воры», поставщики провианта в армию.

Недаром одна из первых его публицистических заметок будет посвящена взяточничеству врачей, состоящих при рекрутских присутствиях; там же он коснется и незаконного зачисления в кантонисты еврейских мальчиков, не достигших двенадцатилетнего возраста. Крымскому воровству Лесков посвятит рассказ «Бесстыдник», но о своей службе в присутствии напишет лишь однажды — и, видимо, не случайно это будет история с хорошим концом.

«Владычный суд» (1877) рассказывает, как еврейский мальчик, попавший в набор, был вызволен благодаря самоотверженности его бесправного отца, примчавшегося спасать сына в Киев, помощи военного губернатора Васильчикова и, главное, митрополита Филарета (Амфитеатрова). Подзаголовок рассказа — «быль». Лесков любил выдавать небыллицу за реальную историю, но в данном случае описываемые события, видимо, действительно имели место.

Предположить, почему о жителях Киева и собственных досугах, о гарных дивчинах и обитателях Печерска, о еврейском вопросе он потом писал часто, охотно, о службе в рекрутском присутствии — почти никогда, несложно. Вероятно, потому что в воспоминаниях этих было мало приятного и что-то навсегда «засело в печенях».

## Призвание

И всё же главное, что принес Николаю Киев, — призвание, осознание того, для чего он отправлен в этот мир.

Совсем не сразу Лесков это разгадал. Ни в гимназии, ни в орловском, ни в киевском присутствии он и не помышлял о сочинительстве. Гоголь, Пушкин, Бенедиктов, Тургенев были недосыгаемы, киевские литераторы — слишком нелепы.

И всё же именно в Киеве он впервые всерьез соприкоснулся с искусством — глядя на фрески, иконы, слушая ико-

нописцев, с которыми свел знакомство. В 1874 году Лесков написал довольно странную повесть о пути к призванию, назвав ее сначала «Блуждающие огоньки», а позднее «Детские годы (Из воспоминаний Меркула Праотцева)».

Ее герой, молодой человек, изгнанный за шалости из кадетского корпуса, ищет себя. Он живет со своей строгой матерью в Киеве и однажды знакомится с художником Лаптевым, расписывающим храмы. Лаптев — человек раздвоенный и говорит о себе: «Пою и пью, священные лики изображаю и ежечасно грешу: чем не сумасшедший...»<sup>74</sup> Он берет Меркула в подмастерья и буквально посвящает в таинство искусства: «Гармония — вот жизнь; постижение прекрасного душою и сердцем — вот что лучше всего на свете!»<sup>75</sup>

Повторяя эти слова наставника, Праотцев засыпает. Ему снится, что его вводят в античный Храм искусства. Храм этот наполнен отнюдь не ангелами и праведниками, свою красоту ему являют совсем иные существа:

«...все девы и юные жены стыдливо снимали покрывала, обнажая красы своего тела; они были обвиты плющом и гирляндами свежих цветов и держали кто на голове, кто на упругих плечах храмовые амфоры, чтобы под тяжестью их отчетливее обозначились линии стройного стана — и всё это затем, чтобы я, величайший художник, увенчанный миртом и розой, лучше бы мог передать полотну их чаровничью прелесть»<sup>76</sup>.

Как видим, самое прекрасное в этом сне внезапно оказывается воплощено в девах и юных женах, к тому же обнаженных.

Лаптев открывает Меркулу, что у того есть художественный дар:

«Как же ты не художник, когда душа у тебя — вся душа наружи — и ты всё это понимаешь, что со мною делается? Нет; тебя непременно надо спасти и поставить на настоящую дорогу»<sup>77</sup>.

И он ставит ученика на эту дорогу, объясняет ему, что занятие искусством подобно монашеству:

«Искусство... искусство, ух, какая мудреная штука! Это ведь то же, что монашество: оставь, человек, отца своего и мать, и бери этот крест служения, да иди на жертву —

а то ничего не будет или будет вот такой богомаз, как я, или самодовольный маляришка, который что ни сделает — всем доволен. Художнику надо вечно хранить в себе святое недовольство собою, а это мука, это страдание, и я вижу, что вы уже к нему немножко сопричастились... Хе, хе, хе! — я всё вижу!

— Отчего же, — говорю, — вы это видите? я ведь вам, кажется, ничего такого не говорил, да и, по правде сказать, никаких особенных намерений не имею. Я поучился у вас и очень вам благодарен — это даст мне возможность доставлять себе в свободные часы очень приятное занятие.

Лаптев замотал головой.

— Нет, — закричал он, — нет, атанде-с\*; не говорить-то вы мне о своих намерениях не говорили, это точно — и, может быть, их у вас пока еще и нет; но уж я искушен — и вы мне поверьте, что они будут, и будут совсем не такие, как вы думаете. Где вам в свободные часы заниматься! На этом никак не может кончиться.

Меня очень заняла эта заботливость обо мне веселого живописца — и я, испытывая его пророческий дух, спросил:

— А как же это кончится?

— А так кончится, что либо вы должны сейчас дать себе слово не брать в руки кистей и палитры, либо вас такой чёрт укусит, что вы скажете “прощай” всему миру и департаменту, — а это пресладостно, и прерадостно, и превредно.

Я рассмеялся»<sup>78</sup>.

Судя по вступительной части, которую Лесков не напечатал (видимо, по требованию цензуры), Меркулу предстояло стать монахом, но необыкновенным — вместе с тем и «артистом», играющим на флейте и виолончели, и живописцем, расписывающим храмы. Незадолго до выхода повести «Детские годы» в свет, в марте 1874-го, Лесков напечатал в журнале «Русский мир» публицистические заметки «Дневник Меркула Праотцева», используя это имя как псевдоним. Под тем же псевдонимом в 1871 году он предлагал выпустить и другую свою повесть — «Смех и горе». Нетрудно предположить, что в образе Меркула, которого киевские фрески подтолкнули к творчеству, проступают черты автопортрета, пусть и достаточно вольного. Очень похоже, что «Детские годы» — поздняя, идеализированная версия собственного пути, роман воспитания по-лесковски.

Герой его сражается за себя, за свою «художественную жилку» с чужой, навязываемой ему правильностью, сухой

---

\* Хватит, довольно (*фр.*).



и ясной, которую в повести воплощает мать. Она мечтает превратить жизнь сына в листок с расписанием, не ведая, как близка к гибели и вот-вот сломается под гнетом собственной гордыни. Вот какой она видит жизнь своего сына:

«Окончив чтение Библии, мы будем пить наш чай; потом девятый час пройдет в занятиях греческим языком, который очень интересен и изучение которого тебя, конечно, чрезвычайно займет. От девяти до десяти мы будем заниматься историей, — я хочу проверить твои знания, и за этим же легким предметом ты немножко отдохнешь от первого урока. Затем одиннадцатый час отдадим латинскому языку и потом будем завтракать, после чего ты будешь ходить на службу. Что ты там будешь делать в канцелярии — я этого, конечно, не знаю, но старайся, разумеется, всё, что тебе поручат, делать усердно и аккуратно»<sup>79</sup>.

Неудивительно, что от такого выверенного, взвешенного и расфасованного по мешочкам существования герою хочется спрятаться, а перед этим опрокинуть и разбить весы. Только вот спрятаться — куда?

«Да не всё ли равно: хоть под паруса церкви на люльку Архипа, хоть на подмостки театра в тоге командора, словом, куда бы ни было, но только туда, где бы встретить жизнь, ошибки и тревоги, а не мораль, вечную мораль добродетели и забот о своем совершенстве...»<sup>80</sup>

Праотцеву помог нащупать верную дорогу Лаптев, Лескову — никто. Но прежде чем сознательно ступить на путь творчества и служения искусству, он женился.

## Муж

Где история страсти, томления, ухаживаний, возможно, борьбы? Ничего похожего. Если они и были — томление, трепет, — то нигде, ни разу Лесков о них не упомянул. Женился, будто во сне. И про его избранницу мы знаем страшно мало: киевлянка, дочь купца с именем киевской княгини Ольга Васильевна Смирнова. Это почти всё. Точный возраст ее был неведом даже Андрею Николаевичу Лескову, главному эксперту по семейным обстоятельствам отца, писавшему, что была она «не то однолеткой, не то на год младше или старше»<sup>81</sup>. Документы, обнаруженные нами

в архиве после долгих поисков, несколько расширяют эти скудные сведения.

Запись в метрической книге Киево-Печерской Феодосиевской церкви по крайней мере позволяет назвать точный возраст супруги Лескова: «№ 43. Восьмого июля 1834 года у киевского купца Василия Елизарова Смирнова и второбрачной жены его Евдокии Евграфовой родилась дочь Ольга, которая молитвована и крещена священником Семионом Ясинским. Требу совершали: священник Симеон Стефанов сын Ясинский, диакон Яков Мошинский, дьячек Софроний Олофинский, пономарь Иван Селиванович»<sup>82</sup>.

Значит, Ольга Васильевна была младше мужа на три года.

Из исповедных росписей Киево-Печерской Спасо-Преображенской церкви известно, что Ольга была у родителей первенцем, через четыре года родился Олимпий, а еще через десять лет Елизавета<sup>83</sup>. Купец Василий Елизарович Смирнов (1799—1871) был маклером Киевской конторы Государственного коммерческого банка. Интересно, что в его доме на Крещатикской площади уже в конце 1850-х на втором этаже снимал квартиру художник и фотограф И. В. Гудовский, к которому заглядывал в гости Тарас Шевченко, а в августе 1859 года даже остановился у него<sup>84</sup>.

По данным А. Н. Лескова венчание Николая и Ольги состоялось в апреле 1853 года, на Красную горку, но согласно метрической книге Старо-Киевской Трехсвятительской церкви брак был заключен на полгода позже: «№ 1. Январь 20. Орловской Губернии Дворянин, служащий в Киевской казенной палате Столоначальником Коллежский регистратор Николай Семенов Лесков Православного исповедания первым браком. 24 лет. Киевского второй гильдии Купца Василия Елезарова Смирнова дочь Ольга Православного вероисповедания, первым браком»<sup>85</sup>. Здесь же ошибочно указывается, что Ольге Васильевне было на тот момент 17 лет. На самом деле ей было 19, ему — без малого 23.

Как мы помним, Семен Дмитриевич Лесков заповедовал сыну искать себе жену после двадцати пяти лет. Согласно данным метрической книги, Николай эту заповедь нарушил, но незначительно.

В мире супруги прожили совсем недолго, начали ссориться — бурно, страшно — и продолжали до тех пор, пока после восьми лет взаимных мучений не разорвали отношения окончательно.

Но чем же в таком случае был вызван этот брак? Очарованием минуты? Стал странным итогом юношеского разгула, который Лесков решил остудить взрослым поступком?

Понятно ведь: инициатива исходила от него. У Ольги, старшей дочери в купеческой семье, очевидно, особого выбора не было: молодой столоначальник, неглуп, речист, дворянин, близкий родственник знаменитого доктора — чем не партия? Девушка на выданье, подрастает сестра; еще несколько лет, и будет поздно, останется вековухой. Не исключено также, что родители замечали в поведении дочери некоторые странности, а значит, тем более обрадовались предложению Лескова. Но чем пленился он?

В заметках «Из одного дорожного дневника», описывая ночь, проведенную на постоялом дворе в Гродно, Лесков признавался:

«Под звуки свежих женских голосов моих соседок я вспомнил другой полупольский город, стоящий не в холодной Литве, а в роскошной Украине; вспомнил маскарады, желтый дом, комнатку над брамой (воротами), белокурые локоны на миловидном личике и коричневое платьице на стройном стане. Потом пошли другие воспоминания, розы смешались с шипами; потом розы совсем куда-то запропастились и остались одни иглы, всё иглы, иглы, и вот я одинокий и разбитый лежу в холодной комнате литовского заязда\* и волей-неволей слушаю разговор двух польских помещиц, рассуждающих о приданом»<sup>86</sup>.

Очень похоже, что обладательницей миловидного личика и стройного стана была Ольга Васильевна.

Не здесь ли кроется ключ к их сближению? Маскарад, всеобщее возбуждение, танцы — что не померещится в горячечном праздничном вихре?

В повести «Детские годы» юный Меркул Праотцев (как мы помним, альтер эго Лескова) случайно увидел на балу молодую женщину:

«...у нее были прелестные белокурые волосы, очень-очень доброе лицо и большие, тоже добрые, ласковые серые глаза, чудная шея и высокая, стройная фигура, а я с детства моего страстно любил женщин высокого роста»<sup>87</sup>.

Несмотря на мимолетность встречи, чудесная дама эта сделалась его идеалом:

---

\* Постоялый двор (польск.).

«Странная, прекрасная и непонятная женщина, мелькнувшая в моей жизни как мимолетное видение, а между тем мимоходом бросившая в душу мне светлые семена: как много я тебе обязан, и как часто я вспоминал тебя — предтечу всех моих грядущих увлечений, — тебя, единственную из женщин, которую я любил, и не страдал и не калялся за эту любовь! О, если бы ты знала, как ты была мне дорога не тогда, когда я был в тебя влюблен моей мальчишеской любовью, а когда я зрелым мужем глядел на женщин хваленого позднейшего времени и... с болезненной грустью видел полное исчезновение в новой женщине высоких воспитывающих молодого мужчину инстинктов и влечений — исчезновение, которое восполнят разве новейшие женщины, вступающие после отошедших новых»<sup>88</sup>.

Но напоминала ли Ольга Васильевна стройную блондинку из повести о Меркуле, неизвестно.

В дальнейшем она стала прототипом всех стервозных жен в прозе Лескова. Супруга главного героя романа «Некуда» доктора Розанова, многое перенявшего от Лескова, капризна, бесцеремонна и невежественна до непристойности. Она устраивает мужу публичные скандалы, требует внимания и любви, ничего не давая взамен. Зовут ее Ольга, правда — Александровна. И почти все дурные жены в лесковской прозе нарисованы по тому же лекалу: каждая из них вздорная, неблагодарная, всем недовольна и терзает супруга, сложного, но отнюдь не плохого, работающего и в общем милого и доброго человека.

Несчастлив в семейной жизни и сын Рошихи (очевидная калька с Лесчихи) из очерка «Ум свое, а чёрт свое» (1863): его супруга до того нравна, что не дает спуску ни свекрови, ни мужу, который с горя «шатается» с ружьем.

В написанном вскоре после кульминации собственной семейной драмы очерке «Страстная суббота в тюрьме», посвященном отнюдь не семейной жизни, — из уст репортера внезапно вырывается:

«Ах, амур проклятый! Какие шутки он шутит со смертными... А сколько честных, рабочих людей, без разгibu гнуших свою спину, которые не встречают от своих законных сопутниц ни ласкового слова, ни привета, ни участия, ни благодарности?.. Сколько людей, работающих только для насущного хлеба семье и не слышащих ничего, кроме капризов, стонов, брани, упреков в роде того, что “я не так бы жила, если бы вышла за другого”, или “ты обязан” и т. п. Да!»<sup>89</sup>

Семейные неурядицы Лесков описывает крайне однообразно, зато реалистично. Удивительно, но семейное счастье в его текстах тоже одинаковое — это идиллия, гармоничная, иногда почти приторная, очевидный плод мечты, а не опыта.

Андрей Николаевич, словно заразившись недовольством отца, также пишет об Ольге Васильевне с негодованием: «По дружным отзывам, жившим потом в нашем родстве, в ней не было ума, сердца, выдержки, красоты... Обилие ничем не возмещаемых “не”»<sup>90</sup>. Бледное пятно, отрицательная частица, «минус» вместо живого человека, будто и не Лесков ее для себя выбрал. Но почему, собственно, дочь киевского купца должна быть умна, сердечна, иметь тонкое обхождение? К тому же она оказалась психически нездорова, хотя выяснилось это совсем не сразу.

Двадцать третьего декабря 1854 года у Николая Семеновича и Ольги Васильевны родился сын Дмитрий, названный в честь деда по отцовской линии. Но вскоре их постигло горе: первенец умер в младенчестве — если верить рассказу «Явление духа»<sup>91</sup>, на постоялом дворе. Андрей Николаевич Лесков предполагает, что сцены его писаны отцом с натуры: мальчик умер вскоре после посещения Панина, куда отец возил его и супругу познакомиться с родными<sup>92</sup>.

Через полтора года после его смерти, 8 марта 1856-го, появилась на свет дочь Вера. Вера Николаевна Лескова, в замужестве Нога, дожила до XX века, скончалась в Петербурге в 1918 году; мы еще вспомним о ней.

Расхождения супругов во взглядах, очевидно, начали обостряться после первых шагов Лескова в литературе. Его идеалы, его цели сделались более определенными, ему хотелось расти и развиваться на новом поприще, Ольга Васильевна вряд ли могла это оценить: замуж она выходила за молодого чиновника, оказалось — за литератора, журналиста.

Николай Семенович бежал из Киева в Москву, но Ольга Васильевна нагнала его и там, приехав с дочкой. Алексей Сергеевич Суворин, будущий известный писатель, крупный издатель, но тогда, в начале 1860-х, такой же молодой провинциал, приехавший из Воронежа, делавший первые пробы пера и живший в Москве вместе с Лесковым, уверял, что тот «щипал и бил» супругу. «Мерзавец большой руки», — резюмировал Суворин в одном из писем тех лет<sup>93</sup>. Другой литератор, очень не любивший Лескова, Иероним Иеронимович Ясинский добавляет подробностей: «...бед-

ная женщина не могла открыть плечей, потому что они были черные!»<sup>94</sup>

Точку в отношениях супругов поставил отъезд Лескова в Петербург в декабре 1861 года. Еще два десятка лет Ольга Васильевна прожила беспокойно: крупный киевский банк, в котором она хранила деньги, доставшиеся в наследство от отца, лопнул, и она потеряла почти все сбережения. Ольга Васильевна металась, тяготилась дочерью. Киевские родные пытались помочь ей, как умели, но это было невозможно. Наконец для всех стало очевидно, что Ольга Васильевна психически больна.

Последние 30 лет из отмеренных ей восьмидесяти она провела в петербургской психиатрической больнице Святого Николая на Пряжке<sup>95</sup>. Психические болезни диагностировали тогда плохо; быть может, то, что Лесков в молодые годы принимал за вздорность характера, было первым вестником заболевания.

Уже в начале 1890-х годов Вера Николаевна, навещая старушку-мать в скорбном доме, спросила, помнит ли она Лескова, своего мужа.

«После явно больших усилий трудно работавшей мысли, всматриваясь куда-то полуприкрытыми глазами, она едва приподняла разверстые кисти восковых рук и, как бы доискиваясь чего-то в сумраке дальнего прошлого, чуть шевеля концами исхудавших пальцев в ритм отдельно слетающих с уст слов, без интонации прошептала: “Лесков?.. Лесков?.. Вижу... вижу... он черный... черный... черный...”

Напряжение иссякло. Луч сник. Всё замкнулось, погрузилось во вновь охватившее больной мозг безмыслие... Глаза закрывались... Больная утомленно умолкла...»<sup>96</sup>

Однако мы слишком забежали вперед. Пока еще супруги жили в Киеве вместе, растили маленькую дочку; Лесков ходил на службу, хотя и тяготился ею всё больше. Но вдруг в жизни его наступила отрадная перемена.

## Коммерсант

Сборы были недолгими. Сложил чемодан, подхватил из рук кухарки корзину со снедью, чмокнул в лоб спящую годовалую Верочку, обнял жену, с восторгом думая, что теперь не понадобится гадать, чем она снова недовольна. Поглядел невидящими глазами и покатил в «новую историю» — в село Райское Городищенского уезда Пензенской

губернии, снова к «дядюшке», но уж к другому, Александру Яковлевичу Шкотту.

Точно благовест прозвучало его приглашение. Не иначе как тетка Александра Петровна, на которой Шкотт был счастливо женат, замолвила за Николая словечко.

Отец Александра Шкотта Джеймс Джеймсович приехал обустроить Россию из Англии.

Управляющий именьями графа Перовского и Нарышкина Джеймс Джеймсович, быстро превратившийся в Якова Яковлевича, смекнул: деревянные соха и борона скоро совершенно истощат и неглубокий орловский чернозем, и девственные почвы приволжских степей. Пахать легкими железными плужками — вот что было необходимо. К чёрту «гостомыслы ковырялки!» Спасти русскую землю. Помочь русским братьям.

Яков Яковлевич взялся за дело. Плуг пошел на соху, соха на плуг — кто кого? Лукаво шерилась борона. Шкотт выписал в Россию на пробу три удобных и легких плуга Джеймса Смолля<sup>97</sup>, проверил, и раз, и два, и семь — английский плуг по всем статьям превосходил и великорусскую соху, и тяжелый малороссийский плуг: оставлял образцовую борозду, узкую, но идеальной глубины, был удобен и легок — даже баба или ребенок могли им пахать.

Только кто ж того англичанина слушал? Одно слово — немец. Уж не из тех ли немцев, что в Одессе покупали у русских хлеб? «Станем их плужками пахать, у кого сами будем хлеб покупать?» — цедили мужики и пахать привозными плужками отказывались. Так и заржавели они в пожарном сарае. Ну а степи... их стало заносить песком. Старый Шкотт быстро сдался. Но его сын верил: у него получится. Нужно только укрепить тылы, врати в русскую землю покрепче.

Шкотт-младший пошел служить в русскую армию. В мае 1827 года он поступил в Глуховский кирасирский полк рядовым, через шесть лет, уже в Рязанском пехотном полку, дослужился до подпоручика. На этом можно было остановиться — обер-офицерский чин давал право на потомственное дворянство. Шкотт им воспользовался и сделался русским дворянином<sup>98</sup>. Оставалось подыскать жену.

Николай любил своего «дядюшку». Сухощавый, подтянутый, надушенные усы, умный, внимательный взор. Лесков подобрал Шкотту и историю женитьбы ему под стать, переодев англичанина в Павла Якушкина: по лесковской легенде, Шкотт, нарядившись «молодцом» при ко-

робейнике, торговавшем вразнос всякой мелочью, поехал по дворянским домам, в которых были дочки на выданье, оглядывал барышень, выходивших к торговцу не в бальных платьях, а в будничном уборе, и слушал, как говорят они с коробейником, как торгуются, как требуют и капризничают. Одна девушка ничего не требовала, улыбалась приветливо, говорила кротко — это была Александра Петровна, самая ласковая и добрая из трех сестер Алферьевых.

Молодые обвенчались в январе 1839-го в уже знакомом нам Собакине. В сентябре следующего года у Шкоттов родился первенец Петр, в 1842-м — Яков, ставший потом известным московским хирургом. Кузен называл их «шкотята».

Александр Шкотт был человек «дивных способностей» — веселый, бодрый, неутомимый. За словом в карман не лез и никого не боялся. Обидчика запросто мог вызвать на дуэль, а то и прибить<sup>99</sup>. Выйдя в отставку, он вслед за отцом служил управляющим у графа Льва Александровича Перовского и Нарышкиных и прослыл «практиком», хитрым, предприимчивым, но совершенно порядочным. Русские помещики часто приглашали в управляющие иностранцев — возможно, в надежде, что те лишены известных русских пороков, склонности к воровству и веры в «авось». О том, что случилось порой с такими не в меру ревностными управляющими «из немцев», свидетельствуют и сам Лесков в рассказе «Язвительный», и Некрасов в поэме «Кому на Руси жить хорошо», а также многочисленные документы о крестьянских бунтах.

Но Александр Яковлевич вел дело с умом, и во вверенных ему имениях не бунтовали. Получал он около сорока тысяч рублей в год — сумму баснословную: годовое жалованье русского управляющего составляло от 600 до 1800 рублей. Много у него отлично складывалось, потому что он неплохо изучил русских, понял и почти полюбил.

Он придумал даже, как лечить баб-кликуш, которые бились в жутких припадках, валялись на землю, очень некстати выли и были неспособны к работе. Подобрал в книге богослова Фомы Кемпийского места позагадочнее, Шкотт торжественно зачитывал их вслух, а потом молился вместе с больной. Когда та была уже в должной мере умягчена и утешена, Александр Яковлевич сливал в один стакан заранее приготовленные соду и лимонную кислоту. Смесь шипела



и пенилась. «Бес шумит и улетает!» — радовалась кликуша и исцелялась полностью<sup>100</sup>. Отбоя от несчастных баб не было. Исцелились бы еще многие, если бы не болтливый фельдшер. Он раскрыл крестьянам секрет чудесного порошка, после чего тот сейчас же перестал действовать.

Хитер был Шкотт, а русский мужик хитрее. И переломить его не под силу было и упрямому Александру Яковлевичу, разумеется, желавшему крестьянам только хорошего. Как ни старался Шкотт — не сумел переселить сведенных в Пензенскую губернию орловских мужиков в удобные кирпичные дома под черепичными крышами, построенные для них предыдущим владельцем Райского Николаем Алексеевичем Всеволожским. Мужики использовали подаренные им кирпичные строения в качестве уборных, а сами селились рядом в наспех поставленных деревянных курных (без дымоходов) избах, предпочтя светлomu и просторному жилью привычное, закопченное и тесное. Быть может, не так уж они были дики, как казалось Шкотту. «Иностранные маратели бумаг с ужасом кричат 200 лет в один голос, что народ наш живет в черных избах и ест черный хлеб; а того ни один еще не заметил, сколь нужно топить избу в зимнее время, что дым чистит воздух, истребляя испарения»<sup>101</sup>, — писал граф Ф. В. Ростопчин, также переживший увлечение английским плугом, но потом сделавшийся «защитником сохи» и «черной избы». Ростопчин рекомендовал своим оппонентам «поездить по России, посмотреть хорошенько и поговорить с бородами, в коих столько же ума, сколько и здравого рассудка».

Александр Яковлевич достаточного здравого рассудка в «бородах» не разглядел. В лесковской повести «Загон» он рассуждает, почему крестьяне не оценили «улучшенные орудия»:

«— Всё это не годится в России.

— Вы шутите, дядя!

— Нет, не шучу. Здесь ничто хорошее не годится, потому что здесь живет народ, который дик и зол.

— Не зол, дядя!

— Нет, зол. Ты русский, и тебе это, может быть, неприятно, но я сторонний человек, и я могу судить свободно: этот народ зол; но и это еще ничего, а всего-то хуже то, что ему говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать!»<sup>102</sup>

Правда, говорил это Шкотт уставший и почти разорившийся. Русского крестьянина он изменить не смог, но Лескова научил многому. Это Шкотт расположил «племянника» и к просвещенному европеизму, и — вслед за Семеном Дмитриевичем — к протестантизму, а значит, подготовил и его позднее увлечение толстовством. Это Шкотт продемонстрировал ему впервые, с каким спокойным уважением и вниманием работодатель может относиться к работнику и его нуждам. Однажды в сельской школе, которая стараниями Всеволожского была открыта в Райском, а потом поддерживалась Шкоттом, Лесков увидел рукописный задачник, составленный англичанином, и поразился: придуманные Шкоттом задачи предлагали не складывать, вычитать и умножать абстрактные литры в резервуарах и секунды в часах, а подсчитывать, сколько зерна потребуется для посева, а овчин на полушубок и тулуп, каков вес мытой и невытой шерсти, какое количество подошв можно выкроить из одной шкуры и сколько гвоздей понадобится для изготовления пары сапог. Всё было приспособлено к крестьянским нуждам. Деревенским детям, приходившим в школу, решать эти задачки было, возможно, интересно<sup>103</sup>. И это Шкотт со своими железными английскими плужками, которым русские мужики по-прежнему предпочитали соху, помог потом Лескову придумать прославившую его сказку про то, как русские мастера обездвигили сделанную англичанами механическую блоху-танцовщицу. Наконец, это Шкотт открыл ему Россию, которой он никогда не увидел бы, не начни служить у Александра Яковлевича.

На волне охватившей страну либерализации экономики Александр Яковлевич погрузился в «новую ересь» — открыл вместе с компаньоном собственную торговую компанию «Шкотт и Вилькенс», в которую и пригласил Лескова.

В мае 1857 года губернский секретарь Николай Лесков взял четырехмесячный отпуск и отправился испытать новую жизнь. Призрак свободы, живое дело, наверняка и размер жалованья<sup>104</sup> будоражили воображение, будили надежды.

Штаб-квартира компании располагалась в селе Райском Пензенской губернии.

Для начала Шкотт поручил Лескову принять участие в переводе крепостных графа Перовского из густонаселенных Орловской и Курской губерний в саратовские степи и Жигулевские горы. На новое место крестьяне должны были добираться по суше и потом плыть на барках.

Министр уделов Лев Алексеевич Перовский, один из самых активных и просвещенных российских сановников, выступал за ограничение крепостного права и искоренил немало злоупотреблений. Перовский обратился к Шкотту с просьбой облегчить положение крестьян, переводимых в новые губернии. До графа, вероятно, дошли мужицкие жалобы на грубость и жестокость провожатых, и он попытался принять меры. Если верить Лескову, для этого Александр Яковлевич и призвал его. Рассказав, что крестьян повезет Петр Семенов — «умный мужик, но тиран», хитрый Шкотт предложил «племяннику» сыграть роль миротворца:

«Вот я и хотел бы испробовать этакую маленькую конституционную затею, чтобы один казнил, а другой миловал. Отправляйся-ка ты с ними, и вникай, и Петру распоряжаться не мешай, но облегчай, что возможно. Я тебе дам главную уверенность с правом делать всякие амнистии... Официальное значение твое будет высоко над Петром, но ты, однако, смотри — не испортить дело: царствуй, но не управляй. Пусть на Петра жалуются, а ты *только милуй*»<sup>105</sup>.

Предложение это начинающему коммерсанту было, конечно, лестно. Он не мог предвидеть, что угодит в ад.

Лесков был еще довольно молод (26 лет), но уже не неопытен: послужил и в Уголовной палате, и в рекрутском столе, знал, каково человеческое горе, вблизи наблюдал и полное бесправие, и непробиваемость тех, кто обеспечивал бесперебойную работу государственной машины: полицейских, исправников, подкупленных врачей. Казалось, ничем его не удивишь. Но на барках Шкотта ему пришлось — нет, не удивиться — испытать потрясение такой силы, что оно не зажило и в зрелые годы.

Что означало переселение крестьян в конце 1850-х годов? Крепостное право еще не отменили, но разговоры о реформе уже велись\*, и многие помещики торопились за-

---

\* Александру II пришлось 30 марта 1856 года произнести специальную речь перед московским губернским и уездными предводителями дворянства, опровергающую скорое освобождение крестьян: «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо — и вы можете сказать это всем направо и налево; но чувство, враждебное между крестьянами и их помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже несколько случаев неповиновения помещикам» (Конец крепостничества в России: Документы, письма, мемуары, статьи. М., 1994. С. 85).

селить крепостными новые земли. Крестьян сгоняли с обжитых мест, отрывали от родных могил, храма, где крестили детей, венчались, отпевали умерших и они, и их отцы и деды. Увозили от земли, которую они знали наизусть, до последнего перелеска и ручья, до каждого грибного места и земляничника. Хорошо, если их везли семьями; но когда помещик желал сэкономить, жены и дети оставались на прежнем месте. Счастливыми оказывались те, кому доставалось двигаться с обозом, а не плыть.

На барку мужик не мог взять ни любимой лошади, ни привычных вещей: ложек, плошек, корыта, колесного стана. На барке было скучно и тесно. В обозе он мог хотя бы глазеть по сторонам, в городах и местечках заходить на базар, торговаться всласть — всё легче переносить невзгоды.

«Ни на что он не жалуется, и не скучно ему. Ночлег на макром выгоне, под рваную свитенкою — штука некомфортабельная, но мужичок и о ней мало заботится. Бабу с ребятами на телеге лубком накроет, а сам прислонится на корточках к оглобле или к колесу, подберет под локти свой рогожный плащ, надвинет на брови шляпенку да так и продремлет чутким сном до тех пор, пока на востоке забрезжится первая светлая полоска ранней зари. Да и велика ли летняя ночь тому, кто днем намаялся и спит только одним глазом, а другим смотрит, “как бы чёртов цыган коня не схимостил или хвост не отлямчил”. А пошлет Господь наутро ведрышко — в обозе рай пресветлый: вчерашняя нудьга забыта, на сердце светло, как на небе. Переселенцы обчищаются, оскребаются с острым словцом да с прибауточкой, самое горе-то свое осмеют и снова тянутся длинною вереницею в свой дальний путь. Дорогою тоже весело. Идет мужичок по лесу, незрелый орех найдет: сорвет его, расколупает и дает мальчикам высосать белое, рыхлое тесто сырого плода. Найдёт диких пчел, достанет у них медку “губы посластить”; а нет ничего съедобного — сорвет листок с дерева, положит его на левый кулак, а правую ладонью расхлопает; либо из подорожничкового листка конька ногтем вырежет, с встречной бабой приятным словом обменяется, проежму барину с дороги не своротит (потому — “обоз”, нельзя, значит, воротить). Всё весело, не то что на барке»<sup>106</sup>.

Однако не скука и не расставание с любимой клячей были главной казнью попавших на барки людей. В пути нигде было помыться. В холодной речной воде мужики мыться отказывались, а бабы стеснялись раздеваться при них. Последствия были страшные.

В очерке «Продукт природы» Лесков описывает, как бесовестный провожатый, «тиран» Петр Семенов, осветил фонарем кормящую младенца крестьянку. На груди ее «что-то серело, точно тюль, и эта тюль двигалась, смешиваясь у со-ска с каплями синего молока, от которого отпал ребенок»<sup>107</sup>. Это были вши, заполонившие всё на барках. Другой эпизод:

«...в довершение картины и для большего мучения моих чувств выскочил какой-то мужичонка и начал тыкать мне в глаза маленького умирающего мальчика, у которого во всех складках тела, как живой бисер, переливали насекомые.

— Вот! — кричал мужик, — вот, смотри это! — а потом он швырнул ребенка на пол, как полено, и обнажил свои покрытые лохмотьями ребра, и тут я увидел, что у него под мышками и между его запавшими ребрами нечто такое, чего не могу изобразить и чего тогда я не мог стерпеть...»<sup>108</sup>

Мужики молили Николая Семеновича помиловать их, дать сойти на берег, в баню: «Ослобони!» Можно ли было не помиловать? Сумрачного и жестокого Петра Семеновича в тот момент не было рядом, и Николай всех отпустил: «С Богом, братцы, только возвращайтесь скорее». 40 человек, благословляя своего спасителя, постанывая, покрикивая, под присмотром старшего быстро уселись в лодку, а ступив на землю... бросились бежать в родные места, к покинутым избам, к брошенным огородам, к любимой реке, к черным баням. Там и помоемся небось.

Беглецов поймали, хорошенько выпороли. Незадачливого сопровождающего отправили назад в Райское — Петр Семенов в одиночку доставил крестьян до места.

Чудовищный, непоправимый провал! Что скажет Шкотт молодому сотруднику? А что тот ответит «дядюшке», так хладнокровно его подставившему?

Но Шкотт только усмехнулся. Искус пройден, Николай, можно работать дальше.

Только мог ли он работать дальше? После такого жуткого урока он так же, как мужики рванули домой, должен был рвануть в Киев, в Казенную палату. Там скучно, зато понятно, действуют ясные правила, а самое страшное насекомое — муха, проснувшаяся по весне. И никаких двусмысленностей, никаких «царствуй, но не управляй».

Он думал, взвешивал, всматривался в покинутую чиновничью жизнь. Отчетливо видел: в составлении бумаг с разъяснениями правил рекрутского набора и указанием сумм на канцелярские расходы, в сонном восхождении по лестнице

чинов, в постоянной оглядке на начальство и невольном соучастии в его грехах подрагивало безвкусное желе предсказуемости, несвободы, смерти. Хотелось жить. Пусть с завшивевшими мужиками, их больными детьми и бабами, пусть с горькими обидами и погружением в черную, безысходную русскую тоску. И Лесков сделал следующий, самый большой шаг навстречу своему призванию: в сентябре 1857 года, по окончании четырехмесячного отпуска, подал прошение об увольнении с коронной службы «по болезни» и стал работать у Александра Яковлевича Шкотта на постоянной основе.

Когда уже пожилого Лескова спросили, откуда он черпал материал для своих произведений, он указал на свой лоб: «Вот из этого сундука. Здесь хранятся впечатления 6—7 лет моей коммерческой службы, когда мне приходилось по делам странствовать по России; это самое лучшее время моей жизни, когда я много видел», — и добавил через паузу: «Мне не приходилось пробиваться сквозь книги и готовые понятия к народу и его быту. Я изучал его на месте. Книги были добрыми мне помощниками, но коренником был я. По этой причине я не пристал ни к одной школе, потому что учился не в школе, а на барках у Шкотта»<sup>109</sup>.

«Барки Шкотта» действительно заменили ему системное образование, стали основным источником знаний о России, о коммерции и экономике, о русских людях. «На барках Шкотта» — метонимия: на самом деле и на тарантасах, бричках, повозках, в избах, на постоялых дворах, в грязных и чистых гостиницах, в вечной дороге. «Барки Шкотта» и в самом деле оказались чудесным бездонным сундуком, из которого долгие годы Лесков черпал и черпал сюжеты, сцены, лица, слова. «Барки Шкотта» сформировали его как писателя. Служба в коммерческой компании, возможно, стала главным, что случилось с ним в дописательской жизни. Без нее Лесков, скорее всего, вообще не смог бы сочинять прозу; во всяком случае, она была бы совершенно иной.

Но куда он ездил, зачем?

Компания «Шкотт и Вилькенс» занималась тем, что сегодня назвали бы аутсорсингом:

«...мы и пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты — словом, хотели эксплуатировать всё, к чему край представлял какие-либо удобства.

За всё это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, всё более по преимуществу из иностранцев»<sup>110</sup>.

Понятное дело, иностранцам Шкотт доверял больше.

В Райском образовалась целая колония сотрудников компании, среди них и Лесков. Он трудился контрагентом, по сути — подрядчиком: принимал заказы на тот или другой вид работы. Заказчики компании жили не только в Пензенской губернии, и Лесков ездил от Астрахани до Рыбинска, от Каспия до Невы. В Среднем и Нижнем Поволжье он познакомился с башкирами, татарами, там узнал и изучил конское дело. Всё это — орловские поместья с конными заводами, «азиатская ярмарка» в Пензе, заволжские степи, пахнущие польню и овцой, Нижний с его крупной торговлей, горячий песок Бугского лимана под Николаевом, ледяной простор Ладоги, шумные балаганы на Адмиралтейской площади в Петербурге — отзовется потом, впитается в его рассказы, раскинется в «Очарованном страннике» бескрайней ширью. Но пока контрагент Лесков просто катил в тарантасе.

«В тарантасе» — так назывался один из первых его очерков, без сюжета, без активного действия, явно списанный с натуры. Весь он — вереница разговоров, которые вели в дороге купец, приказчик большого коммерческого дома, два молодца при нем и торговый крестьянин. Эти истории, анекдоты, легенды, услышанные от случайных попутчиков, и были главной отрадой начинающего очеркиста Лескова.

Постепенно шуточные перебранки, обмен байками, прибаутки — живые ростки устной речи — разрастутся в цветные полотна сочного нарратива. Лесков уже тогда влюблен в «самовитое слово», уже тогда идеально его слышит, хотя всерьез играть с языком начнет еще не скоро, пока только копит материал, сам того не осознавая.

Осознать это ему помогли. Так, по крайней мере, он сам рассказывал, утверждая на закате жизни, что первое читательское признание получил именно в дни коммерческой службы, отсылая в Райское письма с отчетами. Писал он их до того «интересно, что, когда в доме Шкотта получался синенький конвертик, все домашние и бывавшие у него часто соседи говорили “от Лескова” и заставляли хозяина читать письмо вслух»<sup>111</sup>.

Так и выяснилось: контрагент Лесков не только трудолюбив и сметлив — у него отменный слог, бери выше — дар описывать дорожные приключения и людей занятно, язвительно, узнаваемо. О том, что подмечал в своих странствиях Лесков, не писали ни в газетах, ни в книгах. И его письмами зачитывались; слушая их, покатывались со смеху; их цитировали, ими гордились. Их похвалил заезжавший в гости к Шкотту помещик Федор Иванович Селиванов, владелец соседней деревни Боголюбовки и еще одной, Богословки, той же Пензенской губернии. (Позднее, когда Шкотта не стало, — а умер он, оставив родных почти без средств, — Селиванов приобрел Райское у его вдовы.)

В «Заметке о себе самом» (1890) Лесков писал о себе в третьем лице:

«Он изъездил Россию в самых разнообразных направлениях, и это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма, писанные из разных мест к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии (А. Я. Шкот[т]у), заинтересовали Селиванова, который стал их спрашивать, читать и находил их “достойными печати”, а в авторе их пророчил “писателя”»<sup>112</sup>.

Вот так контрагент и превратился в писателя.

Инициалы Селиванова в «Заметке...» были благоразумно опущены.

Лесков незаметно заменил одного Селиванова, доброго соседа Шкотта по имению, другим — известным писателем. Само собой, читатель, о Федоре Ивановиче Селиванове не ведавший, решал, что речь идет об Илье Васильевиче Селиванове (1809—1882), авторе криминальных очерков из народного быта, одном из родоначальников детективного жанра в России. Прозу Селиванова в конце 1850-х с удовольствием публиковали самые разные издания, в том числе Некрасовский «Современник». Его очерки выпускались и отдельными сборниками, самый известный — «Провинциальные воспоминания» — закрепил за сочинителем звание «автор “Провинциальных воспоминаний”». Лесков Селиванова внимательно прочел и нет-нет да и ссылался на него<sup>113</sup>. Только вот в конце 1850-х, когда Лесков разъезжал по делам компании «Шкотт и Вилькенс», Селиванов-писатель жил в Москве и возглавлял тамошнюю Уголовную палату. Имение его жены Малое Маресево отстояло от Райского примерно на 200 верст, так что регулярно «спрашивать и читать» письма Лескова, тем более находить их «достойными печати» Ильи Васильевич не имел физической возможности.



Вся эта вполне намеренно устроенная Лесковым путаница понадобилась ему по очевидной причине: так домашние похвалы доброго соседа, почти ровесника, вероятно, и в самом деле звучавшие, превращались в благословение известного писателя на занятие литературой.

Дебют Лескова в художественной прозе состоялся довольно поздно. Он пришел в российскую словесность словно бы ниоткуда. Спрыгнул на литературный берег с барки Шкотта. Вообще-то подобным образом в 1860-е в литературу приходили многие. Но Лескову было от этого не по себе. Судя по всему, даже в поздние годы ему так и не удалось изжить комплекс литературного самозванца.

И всё же одного совпадения фамилий было бы, конечно, недостаточно. Но Илья Селиванов имел еще и достойную репутацию: просветитель крестьян, один из первых в Пензенской губернии отпустивший своих крепостных на «вольный оброк», автор очерков, о коррупции и беззаконии в уездных судах. В литературные покровители Лесков назначил себе пусть и не перворазрядного писателя, но порядочного человека и либерала.

Интересно, что Селиванова в роли крестного отца Лескову всё же показалось мало; в «Заметке о себе самом» он упоминает, что первые его литературные опыты одобрял и другой известный литератор: «Беллетристические способности усмотрел и поддерживал или поощрял Аполлон Григорьев»<sup>114</sup>. Лесков явно колебался, каким словом лучше обозначить отношение Аполлона Александровича к его «беллетристическим способностям». Один из двух глаголов — «поддерживал» и «поощрял» — здесь явно лишний, а будучи разделены союзом «или», они окончательно запутывают читателя: так поддерживал или всё же поощрял? или и то и другое? Но зачем тогда «или»?

Увы, ни в одной из известных на сегодняшний день работ Аполлона Григорьева имя Лескова, как и Стебницкого (псевдоним, которым Лесков подписывал свои публикации в 1860-е), не встречается. Григорьев умер осенью 1864 года; к этому времени Лесков как беллетрист успел опубликовать всего несколько сочинений, хотя среди них были объемный рассказ «Овцебык», повесть «Житие одной бабы» и больше половины романа «Некуда». Заметил ли эти тексты начинающего литератора маститый коллега, в последний год жизни писавший преимущественно о театре? Нет никаких свидетельств ни об этом, ни о симпатии Григорьева к отдельным персонажам «Некуда», кроме упоминаний самого Лескова<sup>115</sup>. Правда, оба одновременно сотрудничали с жур-

налом братьев Михаила и Федора Достоевских «Время», а в журнале «Якорь», возглавляемом Григорьевым, был опубликован ранний очерк Лескова «Язвительный» за подписью «М. Стебницкий». Установить степень участия Григорьева в выходе «Язвительного» сложно — он в то время постоянно пренебрегал своими редакторскими обязанностями. Но, быть может, именно факт этой публикации позволил Лескову говорить об одобрении со стороны известного критика.

Правда, во второй половине XIX века и «передача лиры» вовсе не воспринималась как обязательный элемент писательской биографии. Во всяком случае, литераторы лесковского, а тем более следующего поколения, от А. А. Блока до И. А. Бунина, вспоминая начало своего творческого пути, как правило, не упоминали о благословлявших их старших коллегах по цеху<sup>116</sup>. Тем не менее Лесков решил обезопасить себя от возможных упреков в самозванстве.

Поступив на службу к Шкотту, он постоянно находился в разъездах. Ольга Васильевна с дочерью и прислугой переехала в Райское и жила в новом флигеле, построенном специально для сотрудников компании. Жила, видимо, неплохо. 29 сентября 1859 года Шкотт рапортовал «племяннику» в Москву, где тот был по делам компании: «С[ело] Райское. Сижу в кабинете и занимаюсь управительскими делами, обе барыни сидят возле меня, обе очень растолстели, равно и Верочка. <...> Насчет твоей семьи ты можешь быть покоен, если что я не одобряю, то за грех считаю смолчать, и сейчас всё поправляется, вчера я предлагал денег, но в них особой надобности еще нет, потому что 8 р[ублей] сер[ебром] еще есть от вырученных за солод. Обедаем вместе, хозяйки завели между собой очередь»<sup>117</sup>.

Лесков бывал дома нечасто, что, по-видимому, продлило его семейную жизнь еще на несколько лет.

Как вдруг всё оборвалось. Дела компании шли всё хуже. Император Александр II, всеми силами пытаясь вытащить страну из ямы, в которой она оказалась после Крымской войны, либерализовал торговлю, но это привело только к новому экономическому спаду. Шкотт, несмотря на упорство, хватку и ум, разорился. На все неприятности наложилась еще и размолвка с «племянником», о которой сохранились глухие намеки. В мае 1860 года компанию «Шкотт и Вилькенс» пришлось ликвидировать. Лесков с семьей был вынужден вернуться в Киев.

## Вольный стрелок

Покинув Райское, Лесков надеялся найти в Киеве новое место на коммерческой службе, сладость которой уже вкусил. Но одно дело, когда тебя приглашает поработать глава компании, другое — когда ты сам просишься к незнакомым людям. Причисление к дворянскому сословию, когда-то с трудом выслуженное отцом, теперь оказалось препятствием, и неодолимым. «...торговые деятели смотрят на всякого соискателя торговых занятий, не принадлежащего к купеческому роду и не выросшего в приказчицкой среде, как на человека, не способного к делу, “дворянчика”, “белоручку”», — писал Лесков в заметке «О соискателях коммерческой службы». И почти с отчаянием, явно опираясь на личный опыт, добавлял, что «встречал от представителей торговли только советы обратиться за приобретением мест чиновников для поручений или следователей, мест, к которым он не чувствует никакого призвания»<sup>118</sup>.

Ссылки на «опыт работы» не помогали. Брать чужака, белоручку-дворянина, да еще много о себе понимающего (к этому моменту Лесков уже написал и отослал в столичный журнал основательные «Очерки винокурной промышленности»), никто не хотел. Возможно, Шкотт мог бы снабдить «племянника» рекомендациями, но они расстались более чем прохладно. А в ближайшем кругу дядюшки Сергея Петровича были одни лишь доктора да профессора.

Оказавшись предоставлен сам себе, Лесков охотно заходил в книжные магазины, а уж когда появлялось что-нибудь стоящее — тем более. В мае 1860 года в свет вышло Евангелие на современном русском языке.

После публикации первого полного перевода Четвероевангелия с церковнославянского на русский язык прошло почти 40 лет, книга давно стала раритетом. В 1826 году с запретом деятельности Российского библейского общества замерла и работа над переводом Священного Писания. В 1858 году император Александр II позволил, наконец, переводить Библию под руководством Синода. Работа закипела, и в 1860 году обновленный перевод Евангелия вышел в Синодальной типографии в Санкт-Петербурге<sup>119</sup>. Едва том появился в продаже, многие отправились за ним в книжные лавки. Киевляне — к Степану Ивановичу Литову. Цена была объявлена заранее — 20 копеек. Но с рубля Лескову сдали 60 копеек! Он изумился: отчего книга продается в два раза дороже? Ему ответили грубостью: «Не берите; и по этой цене уже все почти разобраны, а еще никто не спорил»<sup>120</sup>.

Но правдолюбец Лесков, хотя и взял книгу, всё-таки решил поспорить, да не в лавке с невежливым приказчиком, а в печати. Так Лесков-журналист и появился на свет.

Об этом инциденте он написал дважды: кратко — в анонимной заметке, развернуто — в небольшой статье. Заметку опубликовал еженедельный петербургский журнал «Указатель экономический»:

«Это удвоение цены особенно отражается на посещающих Киев богомольцах, которые всегда покупают в Киеве книги духовного содержания, но которые так бедны, что нередко 20 к[опеек] с[еребром] составляет весь наличный капитал пешехода-богомольца. Переплатить лишний двугривенный для него есть уже разорение, и он принужден отказать себе в приобретении Евангелия, недоступного для него по цене»<sup>121</sup>.

Статья, названная попросту «Корреспонденция», вышла в «Санкт-Петербургских ведомостях» 21 июня 1860 года с подписью «Н. Лесков», а затем была перепечатана журналом «Книжный вестник».

Она и считается первым лесковским выступлением в печати<sup>122</sup>. Многие писавшие потом о Лескове разглядели в этом дебюте символический смысл: писатель, который стал исследователем русской религиозности, проповедовал в публицистике и прозе свободное «евангельское» христианство, начал с заметки о распространении Нового Завета на современном русском языке. Красиво. Недоброжелатель без труда разглядел бы здесь символ иного рода, предвещавший скандал с «Некуда»: Лесков начал журналистскую карьеру с кляузы на владельца книжной лавки, постоянным посетителем которой он являлся. Литов, очевидно спасая репутацию, пытался противостоять перепечатке «Корреспонденции» Лескова в «Книжном вестнике», но не преуспел, а кончилось всё тем, что продажа Евангелий в его магазине была прекращена<sup>123</sup>.

И всё же «Корреспонденция» — лишь первое *подписанное своим именем* выступление Лескова в печати. По-настоящему первой его публикацией стала заметка о распространении трезвости, вышедшая в «Московских ведомостях» за подписью «Н. Г-в»<sup>\*124</sup>. Однако сам Лесков назвал «первой пробой

---

\* Н. Г-в (Николай Горохов) — один из псевдонимов Лескова, по названию его родного села Горохова.